

НАЧИНАЕТСЯ КНИГА,
НАЗЫВАЕМАЯ ДЕКАМЕРОН,
прозванная Principe Galeotto,
в которой содержится сто новелл,
рассказанных в течение десяти дней
семью дамами и тремя молодыми людьми



ВВЕДЕНИЕ

Соболезновать удрученным — человеческое свойство, и хотя оно пристало всякому, мы особенно ожидаем его от тех, которые сами нуждались в утешении и находили его в других. Если кто-либо ощущал в нем потребность и оно было ему отраднo и приносило удовольствие, я — из числа таковых. С моей ранней молодости и до сих пор я был воспламенен через меру высокою, благородною любовью, более, чем, казалось бы, приличествовало моему низменному положению, — если я хотел о том рассказать; и хотя знающие люди, до сведения которых это доходило, хвалили и ценили меня за то, тем не менее любовь заставила меня претерпевать многое, не от жестокости любимой женщины, а от излишней горячности духа, воспитанной неупорядоченным желанием, которое, не удовлетворяясь возможной целью, нередко приносило мне больше горя, чем бы следовало. В таком-то горе веселые беседы и сильные утешения друга доставили мне столько пользы, что, по моему твердому убеждению, они одни и причиной тому, что я не умер. Но по благоусмотрению того, который, будучи сам бесконечен, поставил непреложным законом всему сущему иметь конец, моя любовь — горячая паче других, которую не в состоянии была порвать или поколебать никакая сила намерения, ни совет, ни страх явного стыда, ни могущая последовать опасность, — с течением времени сама собою настолько ослабела, что теперь оставила в моей душе лишь то удовольствие, которое она обыкновенно приносит людям, не пускающимся слишком далеко в ее мрачные волны. Насколько прежде она была тягостной, настолько теперь, с удалением страданий, я ощущаю ее как нечто приятное. Но с прекращением страданий

не удалась память о благодеяниях, оказанных мне теми, которые, по своему расположению ко мне, печалились о моих невзгодах; и я думаю, память эта исчезнет разве со смертью. А так как, по моему мнению, благодарность заслуживает, между всеми другими добродетелями, особой хвалы, а противоположное ей — порицания, я, дабы не показаться неблагодарным, решился теперь, когда я могу считать себя свободным, в возврат того, что сам получил, по мере возможности уготовить некое облегчение если не тем, кто мне помог (они по своему разуму и счастью, может быть, в том и не нуждаются), то по крайней мере имеющим в нем потребу. И хотя моя поддержка, или, сказать лучше, утешение, окажется слабым для нуждающихся, тем не менее мне кажется, что с ним надлежит особенно обращаться туда, где больше чувствуется в нем необходимость, потому что там оно и пользы принесет больше, и будет более оценено. А кто станет отрицать, что такого рода утешение, каково бы оно ни было, приличнее предлагать прелестным дамам, чем мужчинам? Они от страха и стыда таят в нежной груди любовное пламя, а что оно сильнее явного, про то знают все, кто его испытал; к тому же связанные волею, капризами, приказаниями отцов, матерей, братьев и мужей, они большую часть времени проводят в тесной замкнутости своих покоев и, сидя почти без дела, желая и не желая в одно и то же время, питают различные мысли, которые не могут же быть всегда веселыми. Если эти мысли наведут на них порой грустное расположение духа, вызванное страстным желанием, оно, к великому огорчению, останется при них, если не удалят его новые разговоры; не говоря уже о том, что женщины менее выносливы, чем мужчины. Всего этого не случается с влюбленными мужчинами, как то легко усмотреть. Если их постигнет грусть или удручающие мысли, у них много средств облегчить его и обойтись, ибо, по желанию, они могут гулять, слышать и видеть многое, охотиться за птицей и зверем, ловить рыбу, ездить верхом, играть или торговать. Каждое из этих занятий может привлечь к себе душу, всецело или отчасти, устранив от нее грустные мысли, по крайней мере на известное время, после чего, так или иначе, либо наступает утешение, либо умалется печаль. Вот почему, желая отчасти исправить несправедливость фортуны, именно там поскупившейся на поддержку, где меньше было силы, — как то мы видим у слабых женщин, — я намерен сообщить на

помощь и развлечение любящих (ибо остальные удовлетворяются иглой, веретеном и мотовилом) сто новелл, или, как мы их назовем, басен, притч и историй, рассказанных в течение десяти дней в обществе семи дам и трех молодых людей в губительную пору прошлой чумы, и несколько песенок, спетых этими дамами для своего удовольствия. В этих новеллах встретятся забавные и печальные случаи любви и другие необычайные происшествия, приключившиеся как в новейшие, так и в древние времена. Читая их, дамы в одно и то же время получают и удовольствие от рассказанных в них забавных приключений, и полезный совет, поскольку они узнают, чего им следует избегать и к чему стремиться. Я думаю, что и то и другое обойдется не без умаления скуки; если, даст Бог, именно так и случится, да возблагодарят они Амура, который, освободив меня от своих уз, дал мне возможность послужить их удовольствию.



ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Начинается первый день Декамерона, в котором, после того как автор рассказал, по какому поводу собрались и беседовали выступающие впоследствии лица, под председательством Пампинеи, рассуждают о чем кому заблагорассудится

Всякий раз, прелестные дамы, как я, размыслив, подумаю, насколько вы от природы сострадательны, я прихожу к убеждению, что вступление к этому труду покажется вам тягостным и грустным, ибо таким именно является начертанное на челе его печальное воспоминание о прошлой чумной смерти, скорбной для всех, кто ее видел или другим способом познал. Я не хочу этим отвратить вас от дальнейшего чтения, как будто и далее вам предстоит идти среди стенаний и слез: ужасное начало будет вам тем же, чем для путников неприступная, крутая гора, за которой лежит прекрасная, чудная поляна, тем более нравящаяся им, чем более было труда при восхождении и спуске. Как за крайнюю радость следует печаль, так бедствия кончаются с наступлением веселья, — за краткой грустью (говорю: краткой, ибо она содержится в немногих словах) последуют вскоре утеха и удовольствие, которые я вам наперед обещал и которых, после такого начала, никто бы и не ожидал, если бы его не предупредили. Сказать правду: если бы я мог достойным образом повести вас к желаемой мною цели иным путем, а не столь крутою тропой, я охотно так бы сделал; но так как нельзя было, не касаясь того воспоминания, объяснить причину, почему именно приключились события, о которых вы прочтете далее, я принимаюсь писать, как бы побужденный необходимостью.

Итак, скажу, что со времени благотворного вочеловечения сына Божия минуло 1348 лет, когда славную Флоренцию, прекраснейший из всех итальянских городов, постигла смертоносная чума, которая, под влиянием ли небесных светил или

по нашим грехам посланная праведным гневом Божиим на смертных, за несколько лет перед тем открылась в областях Востока и, лишив их бесчисленного количества жителей, безостановочно подвигаясь с места на место, дошла, разрастаясь плачевно, и до Запада. Не помогали против нее ни мудрость, ни предусмотрительность человека, в силу которых город был очищен от нечистот людьми, нарочно для того назначенными, запрещено ввозить больных, издано множество наставлений о сохранении здоровья. Не помогали и умиленные моления, не однажды повторявшиеся, устроенные благочестивыми людьми, в процессиях или другим способом. Приблизительно к началу весны означенного года болезнь начала проявлять свое плачевное действие страшным и чудным образом. Не так, как на Востоке, где кровотечение из носа было явным знамением неминуемой смерти, — здесь в начале болезни у мужчин и женщин показывались в пахах или под мышками какие-то опухоли, разраставшиеся до величины обыкновенного яблока или яйца, одни более, другие менее; народ называл их *gavoccioli* (чумными бубонами); в короткое время эта смертельная опухоль распространялась от указанных частей тела безразлично и на другие, а затем признак указанного недуга изменялся в черные и багровые пятна, появлявшиеся у многих на руках и бедрах и на всех частях тела, у иных большие и редкие, у других мелкие и частые. И как опухоль являлась вначале, да и позднее оставалась вернейшим признаком близкой смерти, таковыми были пятна, у кого они выступали. Казалось, против этих болезней не помогали и не приносили пользы ни совет врача, ни сила какого бы то ни было лекарства: таково ли было свойство болезни, или невежество врачующих (которых, за вычетом ученых медиков, явилось множество, мужчин и женщин, не имевших никакого понятия о медицине) не открыло ее причин, а потому не находило подходящих средств, — только немногие выздоравливали и почти все умирали на третий день после появления указанных признаков, одни скорее, другие позже, — большинство без лихорадочных или других явлений. Развитие этой чумы было тем сильнее, что от больных, через общение со здоровыми, она переходила на последних, совсем так, как огонь охватывает сухие или жирные предметы, когда они близко к нему подвинуты. И еще большее зло было в том, что не только беседа или общение с больными переносило на здоро-

вых недуг и причину общей смерти, но, казалось, одно прикосновение к одежде или другой вещи, которой касался или пользовался больной, передавало болезнь дотрагивавшемуся. Дивным покажется, что я теперь скажу, и если б того не видели многие и я своими глазами, я не решился бы тому поверить, не то что написать, хотя бы и слышал о том от человека, заслуживающего доверия. Скажу, что таково было свойство этой заразы при передаче ее от одного к другому, что она пристава-ла не только от человека к человеку, но часто видали и нечто большее: что вещь, принадлежавшая больному или умершему от такой болезни, если к ней прикасалось живое существо не человеческой породы, не только заражала его недугом, но и убивала в непродолжительное время. В этом, как сказано выше, я убедился собственными глазами однажды на таком примере: лохмотья бедняка, умершего от такой болезни, были выброшены на улицу; две свиньи, набредя на них, по своему обычаю долго теребили их рылом, потом зубами, мотая их из стороны в сторону, и по прошествии короткого времени, закружившись немного, точно поев отравы, упали мертвыми на злополучные тряпки.

Такие происшествия и многие другие, подобные им и более ужасные, порождали разные страхи и фантазии в тех, которые, оставшись в живых, почти все стремились к одной, жестокой цели: избегать больных и удаляться от общения с ними и их вещами; так поступая, они хотели сохранить себе здоровье. Некоторые полагали, что умеренная жизнь и воздержание от всех излишеств сильно помогают борьбе со злом; собравшись кружками, они жили, отделившись от других, укрываясь и запираясь в домах, где не было больных и им самим было удобнее; употребляя с большой умеренностью изысканнейшую пищу и лучшие вина, избегая всякого излишества, не позволяя кому бы то ни было говорить с собою и не желая знать вестей извне — о смерти или больных, — они проводили время среди музыки и удовольствий, какие только могли себе доставить. Другие, увлеченные противоположным мнением, утверждали, что много пить и наслаждаться, бродить с песнями и шутками, удовлетворять, по возможности, всякому желанию, смеяться и издеваться над всем, что приключается, — вот вернейшее лекарство против недуга. И как говорили, так, по мере сил, приводили и в исполнение, днем и ночью странствуя из од-

ной таверны в другую, выпивая без удержу и меры, чаще всего устраивая это в чужих домах, лишь бы прослышали, что там есть нечто им по вкусу и в удовольствие. Делать это было им легко, ибо все предоставили и себя и свое имущество на произвол, точно им больше не жить; оттого большая часть домов стала общим достоянием, и посторонний человек, если вступал в них, пользовался ими так же, как пользовался бы хозяин. И эти люди, при их скотских стремлениях, всегда, по возможности, избегали больных. При таком удрученном и бедственном состоянии нашего города почтенный авторитет как Божеских, так и человеческих законов почти упал и исчез, потому что их служители и исполнители, как и другие, либо умерли, либо хворали, либо у них осталось так мало служилого люда, что они не могли исполнять свои обязанности; почему всякому позволено было делать все, что заблагорассудится.

Многие держались среднего пути между двумя, указанными выше: не ограничивая себя в пище, как первые, не выходя из границ в питье и других излишествах, как вторые, они пользовались всем этим в меру и согласно потребностям, не запирались, а гуляли, держа в руках кто цветы, кто пахучие травы, кто какое другое душистое вещество, которое часто обоняли, полагая полезным освежать мозг такими ароматами, — ибо воздух казался зараженным и зловонным от запаха трупов, больных и лекарств. Иные были более сурового, хотя, быть может, более верного мнения, говоря, что против зараз нет лучшего средства, как бегство перед ними. Руководясь этим убеждением, не заботясь ни о чем, кроме себя, множество мужчин и женщин покинули родной город, свои дома и жилье, родственников и имущество и направились за город, в чужие или свои поместья, как будто гнев Божий, каравший неправедных людей этой чумой, не взыщет их, где бы они ни были, а намеренно обрушится на оставшихся в стенах города, точно они полагали, что никому не остаться там в живых и настал его последний час.

Хотя из этих людей, питавших столь различные мнения, и не все умирали, но не все и спасались; напротив, из каждой группы заболевали многие и повсюду, и как сами они, пока были здоровы, давали в том пример другим здоровым, они изнемогали, почти совсем покинутые. Не станем говорить о том, что один горожанин избегал другого, что сосед почти не забо-

тился о соседе, родственники посещали друг друга редко, или никогда, или виделись издали: бедствие воспитало в сердцах мужчин и женщин такой ужас, что брат покидал брата, дядя племянника, сестра брата и нередко жена мужа; более того и невероятнее: отцы и матери избегали навещать своих детей и ходить за ними, как будто то были не их дети. По этой причине мужчинам и женщинам, которые заболели, а их количества не исчислить, не оставалось другой помощи, кроме милосердия друзей (таковых было немного), или корыстолюбия слуг, привлеченных большим, не по мере, жалованьем; да и тех становилось не много, и были то мужчины и женщины грубого нрава, не привычные к такого рода уходу, ничего другого не умевшие делать, как подавать больным, что требовалось, да присмотреть, когда они кончались; отбывая такую службу, они часто вместе с заработком теряли и жизнь. Из того, что больные бывали покинуты соседями, родными и друзьями, а слуг было мало, развилась привычка, дотоле неслыханная, что дамы красивые, родовитые, заболевая, не стеснялись услугами мужчины, каков бы он ни был, молодой или нет, без стыда обнажая перед ним всякую часть тела, как бы то сделали при женщине, лишь бы того потребовала болезнь — что, быть может, стало впоследствии причиной меньшего целомудрия в тех из них, которые исцелялись от недуга. Умирили, кроме того, многие, которые, быть может, и выжили бы, если б им подана была помощь. От всего этого, и от недостаточности ухода за больными, и от силы заразы, число умирающих в городе днем и ночью было столь велико, что страшно было слышать о том, не только что видеть. Оттого, как бы по необходимости, развились среди горожан, оставшихся в живых, некоторые привычки, противоположные прежним. Было в обычае (как то видим и теперь), что родственницы и соседки собирались в дому покойника, и здесь плакали вместе с теми, которые были ему особенно близки; с другой стороны, у дома покойника сходились его родственники, соседи и многие другие горожане и духовенство, смотря по состоянию усопшего, и сверстники несли его тело на своих плечах, в погребальном шествии со свечами и пением, в церковь, избранную им еще при жизни. Когда сила чумы стала расти, все это было заброшено совсем или по большей части, а на место прежних явились новые порядки. Не только умирали без присутствия многих жен, но много было и таких,

которые отдавали Богу душу без свидетелей, и лишь очень немногим доставались в удел умильные сетования и горькие слезы родных; вместо того, наоборот, в ходу были смех и шутки и общее веселье: обычай, отлично усвоенный, в видах здоровья, женщинами, отложившими большею частью свойственное им чувство сострадания. Мало было таких, тело которых провожали бы до церкви более десяти или двенадцати соседей; и то не почтенные, уважаемые граждане, а род могильщиков из простонародья, называвших себя беккинами и получавших плату за свои услуги: они являлись при гробе и несли его торопливо и не в ту церковь, которую усопший выбрал до смерти, а чаще в ближайшую, несли при немногих свечах или и вовсе без них, за четырьмя или шестью клириками, которые, не беспокоя себя слишком долгой или торжественной службой, с помощью указанных беккинов клали тело в первую попавшуюся незанятую могилу. Мелкий люд, а может быть, и большая часть среднего сословия представляли гораздо более плачевное зрелище: надежда либо нищета побуждали их чаще всего не покидать своих домов и соседства; заболевая ежедневно тысячами, не получая ни ухода, ни помощи ни в чем, они умирали почти без изытия. Многие кончались днем или ночью на улице; иные, хотя и умирали в домах, давали о том знать соседям не иначе как запахом своих разлагавшихся тел. И теми и другими умиравшими повсюду все было полно. Соседи, движимые столько же боязнью заражения от трупов, сколько и состраданием к умершим, поступали большею частью на один лад: сами либо с помощью носильщиков, когда их можно было достать, вытаскивали из домов тела умерших и клали у дверей, где всякий, кто прошелся бы, особливо утром, увидел бы их без числа; затем распоряжались доставлением носилок, но были и такие, которые за недостатком в них клали тела на доски. Часто на одних и тех же носилках их было два или три, но случалось не однажды, а таких случаев можно бы насчитать множество, что на одних носилках лежали жена и муж, два или три брата, либо отец и сын и т. д. Бывало также не раз, что за двумя священниками, шествовавшими с крестом перед покойником, увяжутся двое или трое носилок с их носильщиками следом за первыми, так что священникам, думавшим хоронить одного, приходилось хоронить шесть или восемь покойников, а иногда и более. При этом им не оказывали почета ни слезами, ни свечой, ни

сопутствием, наоборот, дело дошло до того, что об умерших людях думали столько же, сколько теперь об околевшей козе. Так оказалось воочию, что если обычный ход вещей не научает и мудрецов переносить терпеливо мелкие и редкие утраты, то великие бедствия делают даже недалеких людей рассудительными и равнодушными. Так как для большого количества тел, которые, как сказано, каждый день и почти каждый час свозились к каждой церкви, не хватало освященной для погребения земли, особенно если бы по старому обычаю всякому захотели отводить особое место, то на кладбищах при церквях, где все было переполнено, вырывали громадные ямы, куда сотнями клали приносимые трупы, нагромождая их рядами, как товар на корабле, и слегка засыпая землей, пока не доходили до краев могилы.

Не передавая далее во всех подробностях бедствия, приключившиеся в городе, скажу, что, если для него година была тяжелая, она ни в чем не пощадила и пригородной области. Если оставить в стороне замки (тот же город в уменьшенном виде), то в разбросанных поместьях и на полях жалкие и бедные крестьяне и их семьи умирали без помощи медика и ухода прислуги по дорогам, на пашне и в домах, днем и ночью безразлично, не как люди, а как животные. Вследствие этого и у них, как у горожан, нравы разнуздались, и они перестали заботиться о своем достоянии и делах; наоборот, будто каждый наступивший день они чаяли смерти, они старались не уготовлять себе будущие плоды от скота и земель и своих собственных трудов, а уничтожать всяким способом то, что уже было добыто. Оттого ослы, овцы и козы, свиньи и куры, даже преданнейшие человеку собаки, изгнанные из жилья, плутали без запрета по полям, на которых хлеб был заброшен, не только что не убран, но и не сжат. И многие из них, словно разумные, покормившись вдоволь в течение дня, на ночь возвращались сытые, без понукания пастуха, в свои жилища.

Но оставляя пригородную область и снова обращаясь к городу, можно ли сказать что-либо больше того, что по суровости неба, а быть может, и по людскому жестокосердию между мартом и июлем, — частью от силы чумного недуга, частью потому, что вследствие страха, обуявшего здоровых, уход за больными был дурной и их нужды не удовлетворялись, — в стенах города Флоренции умерло, как полагают, около ста тысяч

человек, тогда как до этой смертности, вероятно, и не предполагали, что в городе было столько жителей. Сколько больших дворцов, прекрасных домов и роскошных помещений, когда-то полных челяди, господ и дам, опустели до последнего служителя включительно! Сколько именитых родов, богатых наследий и славных состояний осталось без законного наследника! Сколько крепких мужчин, красивых женщин, прекрасных юношей, которых, не то что кто-либо другой, но Гален, Гиппократ и Эскулап признали бы вполне здоровыми, утром обедали с родными, товарищами и друзьями, а на следующий вечер ужинали со своими предками на том свете!

Мне самому тягостно так долго останавливаться на этих бедствиях; поэтому, опустив в рассказе о них то, что можно, скажу, что в то время, как наш город при таких обстоятельствах почти опустел, случилось однажды (как я потом слышал от верного человека), что во вторник утром в досточтимом храме Санта Мария Новелла, когда там почти никого не было, семь молодых дам, одетых, как было прилично по времени, в печальные одежды, простояв божественную службу, сошлись вместе; все они были связаны друг с другом дружбой, или соседством, либо родством; ни одна не перешла двадцативосьмилетнего возраста, и ни одной не было меньше восемнадцати лет; все разумные и родовитые, красивые, доброго нрава и сдержанно-приветливые. Я назвал бы их настоящими именами, если б у меня не было достаточного повода воздержаться от этого: я не желаю, чтобы в будущем какая-нибудь из них устыдилась за следующие повести, рассказанные либо слышанные ими, ибо границы дозволенных удовольствий ныне более стеснены, чем в ту пору, когда в силу указанных причин они были свободнейшими не только по отношению к их возрасту, но и к гораздо более зрелому; я не хочу также, чтобы завистники, всегда готовые укорить человека похвальной жизни, получили повод умалить в чем бы то ни было честное имя достойных женщин своими непристойными речами. А для того, чтобы можно было понять, не смешивая, что каждая из них будет говорить впоследствии, я намерен назвать их именами, отвечающими всецело или отчасти их качествам. Из них первую и старшую по летам назовем Пампинеей, вторую — Фьямметтой, третью — Филоменой, четвертую — Эмилией, затем Лауреттой — пятую, шестую — Нейфилой, последнюю, не без причины, Элизой.

Все они, собравшись в одной части церкви, не с намерением, а случайно, сели как бы кружком и, после нескольких вздохов оставив чтение «Отче наш», вступили во многие и разнообразные беседы о злобе дня. По некотором времени, когда остальные замолчали, Пампинейя так начала говорить:

— Милые мои дамы, вы, вероятно, много раз слышали, как и я, что пристойное пользование своим правом никому не приносит вреда. Естественное право каждого рожденного — поддерживать, сохранять и защищать, насколько возможно, свою жизнь; это так верно, что иногда, случалось, убивали без вины людей, лишь бы сохранить себе жизнь. Если то допускают законы, пекущиеся о благоустроении всех смертных, то не подобает ли тем более нам и всякому другому принимать, не во вред никому, доступные нам меры к сохранению нашей жизни? Как соображу я наше поведение нынешним утром, да и во многие прошлые дни, и подумаю, как и о чем мы беседовали, я убеждаюсь, да и вы подобно мне, что каждая из нас боится за себя. Не это удивляет меня, а то, что при нашей женской впечатлительности мы не ищем никакого противодействия тому, чего каждая из нас страшится по праву. Кажется мне, мы живем здесь как будто потому, что желаем или обязаны быть свидетельницами, сколько мертвых тел отнесено на кладбище; либо слышать, поют ли здешние монахи, число которых почти свелось в ничто, свою службу в положенные часы; доказывать своей одеждой всякому приходящему качество и количество наших бед. Выйдя отсюда, мы видим, как носят покойников или больных; видим людей, когда-то осужденных властью общественных законов на изгнание за их проступки, неистово мечущихся по городу, точно издеваясь над законами, ибо они знают, что их исполнители умерли либо больны; видим, как подонки нашего города, под названием беккинов, упивающиеся нашей кровью, ездят и бродят повсюду на мучение нам, в бесстыдных песнях укоряя нас в нашей беде. И ничего другого мы не слышим, как только: такие-то умерли, те умирают; всюду мы услышали бы жалобный плач — если бы были на то люди. Вернувшись домой (не знаю, бывает ли с вами то же, что со мною), я, не находя там из большой семьи никого, кроме моей служанки, прихожу в трепет и чувствую, как у меня на голове поднимаются волосы; куда бы я ни пошла и где бы ни остановилась, мне представляются тени усопших, не такие, ка-

ковыми я привыкла их видеть, и пугающие меня страшным видом, неизвестно откуда в них явившимся. Вот почему и здесь, и в других местах, и дома я чувствую себя нехорошо, тем более что, мне кажется, здесь, кроме нас, не осталось никого, у кого, как у нас, есть и кровь в жилах и готовое место убежища. Часто я слышала о людях (если таковые еще остались), которые, не разбирая между приличным и недозволенным, руководясь лишь вожделением, одни или в обществе, днем и ночью совершают то, что приносит им наибольшее удовольствие. И не только свободные люди, но и монастырские отшельники, убедив себя, что им прилично и пристало делать то же, что и другим, нарушив обет послушания и отдавшись плотским удовольствиям, сделались распущенными и безнравственными, надеясь таким образом избежать смерти. Если так (а это очевидно), то что же мы здесь делаем? Чего ожидаемся? О чем грезим? Почему мы безучастнее и равнодушнее к нашему здоровью, чем остальные горожане? Считаем ли мы себя менее ценными, либо наша жизнь прикреплена к телу более крепкой цепью, чем у других, и нам нечего заботиться о чем бы то ни было, что бы могло повредить ей? Но мы заблуждаемся, мы обманываем себя; каково же наше неразумие, если мы так именно думаем! Стоит нам только вспомнить, сколько и каких молодых людей и женщин похитила эта жестокая зараза, чтобы получить тому явное доказательство. И вот для того, чтобы, по малодушию или беспечности, нам не попасться в то, чего мы могли бы при желании избежать тем или другим способом, я считала бы за лучшее (не знаю, разделите ли вы мое мнение), чтобы мы, как есть, покинули город, как то прежде нас делали и еще делают многие другие, и, избегая паче смерти недостойных примеров, отправились честным образом в загородные поместья, каких у каждой из нас множество, и там, не переходя ни одним поступком за черту благоразумия, предались тем развлечениям, утехе и веселью, какие можем себе доставить. Там слышно пение птичек, виднеются зеленеющие холмы и долины, поля, на которых жатва волнуется, что море, тысячи пород деревьев и небо более открытое, которое, хотя и гневается на нас, тем не менее не скрывает от нас своей вечной красоты; все это гораздо прекраснее на вид, чем пустые стены нашего города. К тому же там и воздух прохладнее, большое обилие всего необходимого для жизни в такие времена и менее неприятностей. Ибо если и

там умирают крестьяне, как здесь горожане, неприятного впечатления потому менее, что дома и жители встречаются реже, чем в городе. С другой стороны, здесь, если я не ошибаюсь, мы никого не покидаем, скорее, поистине, мы сами можем почитать себя оставленными, ибо наши близкие, унесенные смертью или избегая ее, оставили нас в такой бедствии одних, как будто мы были им чужие. Итак, никакого упрека нам не будет, если мы последуем этому намерению; горе и неприятность, а может быть, и смерть могут приключиться, коли не последуем. Поэтому, если вам заблагорассудится, я полагаю, мы хорошо и как следует поступим, если позовем своих служанок и, велев им следовать за нами с необходимыми вещами, будем проводить время сегодня здесь, завтра там, доставляя себе те удовольствия и развлечения, какие возможны по времени, и пребывая таким образом до тех пор, пока не увидим (если только смерть не постигнет нас ранее), какой исход готовит небо этому делу. Вспомните, наконец, что нам не менее пристало удалиться отсюда с достоинством, чем многим другим оставаться здесь, недостойным образом проводя время.

Выслушав Пампинею, другие дамы не только похвалили ее совет, но, желая последовать ему, начали было частным образом между собой толковать о способах, как будто, выйдя отсюда, им предстояло тотчас же отправиться в путь. Но Филомена, как женщина рассудительная, сказала:

— Хотя все, что говорила Пампинея, очень хорошо, не следует так спешить, как вы, видимо, желаете. Вспомните, что все мы — женщины, и нет между нами такой юной, которая не знала бы, каково одним женщинам жить своим умом и как они устраиваются без присмотра мужчины. Мы подвижны, сварливы, подозрительны, малодушны и пугливы; вот почему я сильно опасаюсь, как бы, если мы не возьмем иных руководителей, кроме нас самих, наше общество не распалось слишком скоро и с большим ущербом для нашей чести, чем было бы желательно. Потому хорошо бы позаботиться о том прежде, чем начать дело.

Тогда сказала Элиза:

— Справедливо, что мужчина — глава женщины и что без мужского руководства наши начинания редко приходят к похвальному концу. Но где нам достать таких мужчин? Каждая из нас знает, что большая часть ее ближних умерла, другие,

оставшиеся в живых, бегут, собравшись кружками, кто сюда, кто туда, мы не знаем, где они; бегут от того же, чего желаем избежать и мы. Просить посторонних было бы неприлично; потому, если мы хотим себе благоуспехания, надо найти способ так устроиться, чтобы не последовало неприятности и стыда там, где мы ищем веселья и покоя.

Пока дамы пребывали в таких беседах, в церковь вошли трое молодых людей, из которых самому юному было, однако, не менее двадцати пяти лет и в которых ни бедствия времени, ни утраты друзей и родных, ни боязнь за самих себя не только не погасили, но и не охладили любовного пламени. Из них одного звали Панфило, второго — Филострато, третьего — Дионео; все они были веселые и образованные люди, а теперь искали, как высшего утешения в такой общей смуте, повидать своих дам, которые, случайно, нашлись в числе упомянутых семи, тогда как из остальных иные оказались в родстве с некоторыми из юношей. Они увидели дам не скорее, чем те заметили их, почему Пампинейя заговорила, улыбаясь:

— Видно, судьба благоприятствует нашим начинаниям, послав нам этих благоразумных и достойных юношей, которые будут нам руководителями и слугами, если мы не откажемся принять их на эту должность.

Нейфила, лицо которой зарделось от стыда, ибо она была любима одним из юношей, сказала:

— Боже мой, Пампинейя, подумай, что ты говоришь! Я знаю наверно, что ни об одном из них, кто бы он ни был, нельзя ничего сказать, кроме хорошего, считаю их годными на гораздо большее дело, чем это, и думаю, что не только нам, но и более красивым и достойным, чем мы, их общество было бы приятно и почетно. Но, так как хорошо известно, что они влюблены в некоторых из нас, я боюсь, чтобы не последовало, без нашей или их вины, злой славы или нареканий, если мы возьмем их с собою.

Сказала тогда Филомена:

— Все это ничего не значит: лишь бы жить честно и не было у меня угрызений совести, а там пусть говорят противное, Господь и правда возьмут за меня оружие. Если только они расположены пойти, мы вправду могли бы сказать, как Пампинейя, что судьба благоприятствует нашему путешествию.

Услышав эти ее речи, другие девушки не только успокоились, но и с общего согласия решили позвать молодых людей, рассказать им свои намерения и попросить их, как одолжения, сопровождать их в путешествии. Вследствие этого, не теряя более слов и поднявшись, Пампинея, приходившаяся родственницей одному из юношей, направилась к ним, стоявшим и глядевшим на дам; весело поздоровавшись и объяснив свое намерение, она попросила их от лица всех не отказать сопроводить им — в чистых и братских помыслах. Молодые люди подумали сначала, что над ними насмеются; убедившись, что Пампинея говорит серьезно, они с радостью ответили, что готовы, и, не затягивая дела, прежде чем разойтись, сговорились, что им предстояло устроить для путешествия. Велев надлежащим образом приготовить все необходимое и наперед послав оповестить туда, куда затеяли идти, на следующее утро, то есть в среду, на рассвете, дамы с несколькими прислужницами и трое молодых людей с тремя слугами, выйдя из города, пустились в путь и не прошли более двух малых миль, как прибыли к месту, в котором решено было расположиться на первый раз. Оно лежало на небольшом пригорке, со всех сторон несколько удаленном от дорог, полном различных кустарников и растений в зелени, приятных для глаз. На вершине возвышался палатко с прекрасным, обширным двором внутри, с открытыми галереями, залами и покоями, прекрасными как в отдельности, так и в общем, украшенными замечательными картинами; кругом полянки и прелестные сады, колодцы свежей воды и погребка, полные дорогих вин, — что более пристало их знатокам, чем умеренным и скромным дамам. К немалому своему удовольствию, общество нашло к своему прибытию все выметенным; в покоях стояли приготовленные постели, все устлано цветами, какие можно было достать по времени года, и тростником. Когда по приходе все сели, Дионео, отличавшийся перед всеми другими веселостью и остроумными выходками, обратился к дамам:

— Ваш ум более, чем наша находчивость, привел нас сюда; я не знаю, что вы намерены делать с вашими мыслями; свои я оставил за воротами города, когда вышел из них вместе с вами; поэтому либо приготовьтесь веселиться, хохотать и петь вместе со мною (насколько, разумеется, приличествует вашему досто-

инству), либо пустите меня вернуться к своим мыслям в постигнутый бедствиями город.

Весело отвечала ему Пампинея, как будто и она точно так же отогнала от себя свои мысли:

— Ты прекрасно сказал, Дионео, будем жить весело, не по другой же причине мы убежали от скорбей. Но так как все, не знающее меры, длится недолго, я, начавшая беседы, приведшие к образованию столь милого общества, желаю, чтобы наше веселье было продолжительным, и потому полагаю необходимым нам всем согласиться, чтобы между нами был кто-нибудь главным, которого мы почитали бы и слушались как наибольшего и все мысли которого были бы направлены к тому, чтобы нам жилось весело. Но для того чтоб каждый мог испытать как бремя заботы, так и удовольствие почета и при выборе из тех и других никто, не испытав того и другого, не ощущал зависти, я полагаю, чтобы каждому из нас, по очереди, присваивались на день и бремя и честь: пусть первый будет избран всеми нами, последующие назначаемы, как приблизится время вечереи, по усмотрению того или той, кто в тот день был старшим; этот назначенный пусть все устраивает и, на время своего начальства, располагает по своему произволу местом пребывания и распорядком нашей жизни.

Эти речи в высшей степени понравились, и Пампинея была единогласно избрана на первый день, тогда как Филомена, часто слышавшая в разговорах, как почетны листья лавра и сколько чести они доставляют достойно увенчанным ими, быстро подбежала к лавровому дереву и, сорвав несколько веток, сделала прекрасный, красивый венок и возложила его на Пампинею. С тех пор, пока держалось их общество, венок был для всякого другого знаком королевской власти или старшинства.

Став королевой, Пампинея велела всем умолкнуть и, распорядившись позвать слуг трех юношей и своих четырех служанок, среди общего молчания сказала:

— Для того чтоб мне первой подать вам пример, каким образом наше общество, преуспевая в порядке и удовольствии и без зазора, может существовать и держаться, пока нам заблагорассудится, я, во-первых, назначаю Пармено, слугу Дионео, моим сенешалем, поручая ему заботу и попечение о челяди и столовой. Сирис, слуга Панфило, пусть будет нашим счетчи-

ком и казначеем, повинуюсь приказаниям Пармено. Тиндаро будет при Филострато и двух других молодых людях, прислуживая им в их покоях, когда его товарищи, отвлеченные своими обязанностями, не могли бы этому отдалиться. Моя служанка Мизия и Личиска, прислужница Филомены, будут постоянно при кухне, тщательно заботясь о приготовлении кушаний, какие закажет им Пармено. Кимера и Стратилия, горничные Лауретты и Фьямметты, будут, по моему приказанию, убирать дамские комнаты и наблюдать за чистотою покоев, где мы будем собираться; всякому, вообще дорожащему нашим расположением, мы предъявляем наше желание и требование, чтобы, куда бы он ни пошел, откуда бы ни возвратился, что бы ни слышал или видел, он воздержался от сообщения нам каких-либо известий извне, кроме веселых.

Отдав вкратце эти приказания, встретившие общее сочувствие, Пампинея встала и весело сказала:

— Здесь у нас сады и поляны и много других приятных мест, пусть каждый гуляет в свое удовольствие, но лишь только ударит третий час, пусть будет здесь на месте, чтобы нам можно было обедать, пока прохладно.

Когда новая королева отпустила таким образом веселое общество, юноши и прекрасные дамы тихо направились по саду, разговаривая о приятных вещах, плетя венки из различных веток и любовно распевая. Проведя таким образом время, пока настал срок, назначенный королевой, и вернувшись домой, они убедились, что Пармено ревностно принялся за исполнение своей обязанности, ибо, вступив в залу нижнего этажа, они увидели столы, накрытые белоснежными скатертями, чары блестели как серебро и все было усеяно цветами терновника. После того как по распоряжению королевы подали воду для омовения рук, все пошло к местам, назначенным Пармено. Внесли тонко приготовленные кушанья и изысканные вина, и, не теряя времени и слов, трое слуг принялись служить при столе; и так как все было хорошо и в порядке устроено, все пришли в отличное настроение и обедали среди приятных шуток и веселья. Когда убрали со стола, королева велела принести инструменты, так как все дамы, да и юноши умели плясать, а иные из них играть и петь; по приказанию королевы Дионео взял лютню, Фьямметта — виолу, и оба стали играть

прелестный танец, а королева, отослав прислугу обедать, составила вместе с другими дамами и двумя молодыми людьми круг и принялась тихо ходить в круговой пляске; когда она кончилась, начали петь хорошенькие, веселые песни. Так провели они время, пока королеве не показалось, что пора отдохнуть; когда она всех отпустила, трое юношей удалились в свои отделенные от дамских покои, где нашли хорошо приготовленные постели и все было полно цветов, как и в зале; удалились также и дамы и, раздевшись, пошли отдохнуть.

Только что пробил девятый час, как королева, поднявшись, подняла и других дам, а также и молодых людей, утверждая, что долго спать днем вредно. И вот все направились к лужайке с высокой зеленой травой, куда солнце не доходило ни с какой стороны. Веял мягкий ветерок; когда по приказанию королевы все уселись кругом на зеленой траве, она сказала:

— Вы видите, солнце еще высоко и жар стоит сильный, только и слышны что цикады на оливковых деревьях; пойти куда-нибудь было бы несомненно глупо. Здесь в прохладе хорошо, есть шашки и шахматы, и каждый может доставить себе удовольствие, какое ему более по нраву. Но если бы вы захотели последовать моему мнению, мы провели бы жаркую часть дня не в игре, в которой по необходимости состояние духа одних портится, без особого удовольствия других, либо смотрящих на нее, — а в рассказах, что может доставить удовольствие слушающим одного рассказчика. Вы только что успеете рассказать каждый какую-нибудь повесть, как солнце уже будет на закате, жар спадет и мы будем в состоянии пойти в наше удовольствие, куда нам захочется. Если то, что я предложила, вам нравится (а я готова следовать вашему желанию), так и сделаем; если нет, то пусть каждый до вечернего часа делает, что ему угодно.

И дамы, и мужчины равно высказались за рассказы.

— Коли вам это нравится, — сказала королева, — то я решаю, чтобы в этот первый день каждому вольно было рассуждать о таких предметах, о каких ему заблагорассудится.

И, обратившись к сидевшему по правую руку Панфило, она любезно попросила его начать рассказы какой-нибудь своей новеллой. Услышав приказ, Панфило начал, при общем внимании, таким образом.

НОВЕЛЛА ПЕРВАЯ

*Сэр Чаппеллетто обманывает лживой исповедью
благочестивого монаха и умирает;
негодяй при жизни, по смерти признан святым
и назван San Ciappelletto*

— Милые дамы! За какое бы дело ни принимался человек, ему предстоит начинать его во чудесное и святое имя того, кто был создателем всего сущего. Потому и я, на которого первого выпала очередь открыть наши беседы, хочу рассказать об одном из чудных его начинаний, дабы, услышав о нем, наша надежда на него утвердилась, как на незыблемой почве, и его имя восхвалено было нами во все дни. Известно, что все существующее во времени — преходяще и смертно, исполнено в самом себе и вокруг скорби, печали и труда, подвержено бесконечным опасностям, которые мы, живущие в нем и составляющие его часть, не могли бы ни вынести, ни избежать, если бы особая милость Божия не давала нам на то силы и предусмотрительности. Нечего думать, что эта милость нисходит к нам и пребывает в нас за наши заслуги, а дается она по его собственной благодати и молитвами тех, кто, подобно нам, были смертными людьми, но, следуя при жизни его велениям, теперь стали вместе с ним вечными и блаженными. К ним, как к заступникам, знающим по опыту нашу слабость, мы и обращаемся, моля их о наших нуждах, может быть, не осмеливаясь возносить наши молитвы к такому судие, как он. Тем больше мы признаем его милосердие к нам, что, при невозможности проникнуть смертным оком в тайны Божественных помыслов, нередко случается, что, введенные в заблуждение молвой, такого мы избираем перед его величием заступника, который навеки им осужден; а, несмотря на это, он, для которого нет тайны, обращая более внимания на чистосердечие молящегося, чем на его невежество или осуждение призываемого, внимает молящим, как будто призываемый ими удостоился перед его лицом спасения. Все это ясно будет из новеллы, которую я хочу рассказать вам: я говорю «ясно» с точки зрения человеческого понимания, не Божественного промысла.

Рассказывают о Мушьятто Францези, что, когда из богатого и именитого купца он стал кавалером и собирался поехать в Тоскану вместе с Карлом Безземельным, братом французского

короля, вызванным и побужденным к тому папой Бонифацием, он увидел, что дела его там и здесь сильно запутаны, как то нередко у купцов, и что распутать их не легко и не скоро, и потому он решился поручить ведение их нескольким лицам. Все дела он устроил; только одно у него осталось сомнение: где ему отыскать человека, способного взыскать его долги с некоторых бургундцев? Причина сомнения была та, что он знал бургундцев за людей охочих до ссоры, негодных и не держащих слова, и он не в состоянии был представить себе человека настолько коварного, что он мог бы с уверенностью противопоставить его коварству бургундцев. Долго он думал об этом вопросе, когда пришел ему на память некий сэр Чеппарелло из Прато, часто хаживавший к нему в Париже. Этот Чеппарелло был небольшого роста, одевался чистенько, а так как французы, не понимая, что означает Чеппарелло, думали, что это то же, что на их языке chapel, то есть венок, то они и прозвали его не Capello, а Ciappelletto, потому что, как я уже сказал, он был мал ростом. Так его всюду и знали за Чаппеллетто, и лишь немногие за сэра Чеппарелло. Жизнь этого Чаппеллетто была такова: был он нотариусом, и для него было бы величайшим стыдом, если бы какой-нибудь из его актов (хотя их было у него немного) оказался не фальшивым; таковые он готов был составлять по востребованию и охотнее даром, чем другой за хорошее вознаграждение. Лжесвидетельствовал он с великим удовольствием, прощенный и непрощенный; в то время во Франции сильно веровали в присягу, а ему ложная клятва была нипочем, и он злостным образом выигрывал все дела, к которым его привлекали с требованием: сказать правду по совести. Удовольствием и заботой было для него посеять раздор, вражду и скандалы между друзьями, родственниками и кем бы то ни было, и чем больше от того выходило бед, тем было ему милее. Если его приглашали принять участие в убийстве или каком другом дурном деле, он шел на то с радостью, никогда не отказываясь, нередко и с охотой собственными руками нанося увечье и убивая людей. Кошунствовал он на Бога и святых страшно, из-за всякой безделицы, ибо был гневлив не в пример другим. В церковь никогда не ходил и глумился неприличными словами над ее таинствами, как ничего не стоящими; наоборот, охотно ходил в таверны и посещал другие непристойные места. До женщин был охоч, как собака до палки, зато в противоположном

пороке находил больше удовольствия, чем иной развратник. Украсть и ограбить он мог бы со столь же спокойной совестью, с какой благочестивый человек подал бы милостыню; обжора и пьяница был он великий, нередко во вред и поношение себе; шулер и злостный игрок в кости был он отъявленный. Но к чему тратить слова? Худшего человека, чем он, может быть, и не родилось. Положение и влияние мессера Мушьятто долгое время прикрывали его злостные проделки, почему и частные люди, которых он нередко оскорблял, и суды, которые он продолжал оскорблять, спускали ему. Когда мессер Мушьятто вспомнил о сэре Чеппарелло, жизнь которого прекрасно знал, ему представилось, что это и есть человек, какого надо для злостных бургундцев: потому, велев позвать его, он сказал: «Ты знаешь, сэра Чаппеллетто, что я отсюда уезжаю совсем; между прочим, есть у меня дела с бургундцами, обманщиками, и я не нахожу человека, более тебя подходящего, которому я мог бы поручить взыскать с них мое. Теперь тебе делать нечего, и если ты возьмешься за это, я обещаю снискать тебе расположение суда и дать тебе приличную часть суммы, какую ты взыщешь». Сэр Чаппеллетто, который был без дела и не особенно богат благами мира сего, видя, что удаляется тот, кто долго был ему поддержкой и убежищем, немедля согласился, почти побуждаемый необходимостью, и объявил, что готов с полной охотой. На том сошлись. Сэр Чаппеллетто, получив доверенность мессера Мушьятто и рекомендательные королевские письма, отправился, по отъезде мессера Мушьятто, в Бургундию, где его никто почти не знал. Здесь, наперекор своей природе, он начал взыскивать долги мягко и дружелюбно и делать дело, за которым приехал, как бы предоставляя себе расхотиться под конец. Во время этих занятий, пребывая в доме двух братьев-флорентийцев, занимавшихся ростовщицеством и чествовавших его ради мессера Мушьятто, он заболел. Братья тотчас же послали за врачами и людьми, которые бы за ним ходили, и сделали все необходимое для его здоровья; но всякая помощь была напрасна, потому что, по словам медиков, сэру Чаппеллетто, уже старику, к тому же беспорядочно пожившему, становилось хуже со дня на день, болезнь была смертельная. Это сильно печалило братьев; однажды они завели такой разговор по соседству с комнатой, где лежал больной сэра Чаппеллетто. «Что мы с ним станем делать? — говорил один другому. — Плохо нам с ним:

выгнать его, больного, из дому было бы страшным позором и знаком неразумия: все видели, как мы его раньше приняли, потом доставили ему тщательный уход и лечебную помощь — и вдруг увидят, что мы выгоняем его, больного, при смерти, внезапно из дому, когда он и не в состоянии был сделать нам что-либо неприятное. С другой стороны, он был таким негодяем, что не захочет исповедаться и приобщиться святых тайн, и если умрет без исповеди, ни одна церковь не примет его тела, которое бросят в яму, как собаку. Но если он и исповедается, то у него столько грехов и столь ужасных, что выйдет то же, ибо не найдется такого монаха или священника, который согласился бы отпустить их ему; так, не получив отпущения, он все же угодит в яму. Коли это случится, то жители этого города, которые беспрестанно поносят нас за наше ремесло, представляющееся им несправедливым, и которые не прочь нас пограбить, увидев это, поднимутся на нас с криком: «Нечего щадить этих псов ломбардцев, их и церковь не принимает!» И бросятся они на наши дома и, быть может, не только разграбят наше достояние, но к тому же лишат и жизни. Так или иначе, а нам плохо придется, если он умрет».

Сэр Чаппеллетто, лежавший, как я сказал, поблизости от того места, где они таким образом беседовали, при том изощренном слухе, какой часто бывает у больных, услышал, что о нем говорили. Велев их позвать к себе, он сказал: «Я не желаю, чтобы вы беспокоились по моему поводу и боялись потерпеть из-за меня. Я слышал, что вы обо мне говорили, и вполне уверен, что так бы все и случилось, как вы рассчитывали, если бы дело пошло так, как предполагаете. Но оно выйдет иначе. При жизни я так много оскорблял Господа, что если накануне смерти я сделаю то же в течение какого-нибудь часа, вины от того будет ни больше, ни меньше. Потому распорядитесь позвать ко мне святого, хорошего монаха, какого лучше найдете, если таковой есть, и предоставьте мне действовать: я наверно устрою и ваши и мои дела так хорошо, что вы останетесь довольны». Братья, хотя и не питали большой надежды, тем не менее отправились в один монастырь и потребовали какого-нибудь святого, разумного монаха, который исповедал бы ломбардца, занемогшего в их доме; им дали старика святой, примерной жизни, великого знатока Священного Писания, человека очень почтенного, к которому все горожане питали особое, ве-

ликое уважение. Повели они его; придя в комнату, где лежал сэр Чаппеллетто, и подойдя к нему, он начал благодушно утешать его, а затем спросил, сколько времени прошло с его последней исповеди. Сэр Чаппеллетто, никогда не исповедовавшийся, отвечал: «Отец мой, по обыкновению я исповедуюсь каждую неделю по крайней мере один раз, не считая недель, когда и чаще бываю на исповеди; правда, с тех пор как я заболел, тому неделя, я не исповедовался: такое горе учинил мне мой недуг!» — «Хорошо ты делал, сын мой, — сказал монах, — делай так и впредь; вижу я, что мало мне придется услышать и спрашивать, так как ты так часто бываешь на духу». — «Не говорите этого, святой отец, — сказал сэр Чаппеллетто, — сколько бы раз и как ни часто я исповедовался, я всегда имел в виду принести покаяние во всех своих грехах, о каких только я помнил со дня моего рождения до времени исповеди; потому прошу вас, честнейший отец, спрашивать меня обо всем так подробно, как будто я никогда не исповедовался. Не смотрите на то, что я болен: я предпочитаю сделать неприятное моей плоти, чем, потакая ей, совершить что-либо к погибели моей души, которую мой Спаситель искупил своею драгоценною кровью». Эти речи очень понравились святому отцу и показались ему свидетельством благочестивого настроения духа. Усердно одоббив такое обыкновение сэра Чаппеллетто, он начал его спрашивать, не согрешил ли он когда-либо с какой-нибудь женщиной? Сэр Чаппеллетто отвечал, вздыхая: «Отче, в этом отношении мне стыдно открыть вам истину, потому что я боюсь погрешить тщеславием». — «Говори, не бойся, никто еще не согрешал, говоря правду на исповеди или при другом случае». Сказал тогда сэр Чаппеллетто: «Если вы уверяете меня в этом, то я скажу вам: я такой же девственник, каким вышел из утробы моей матушки». — «Да благословит тебя Господь! — сказал монах. — Хорошо ты сделал и, поступая таким образом, тем более заслужил, что, если бы захотел, ты мог бы совершать противоположное с большей свободой, чем мы и все те, кто связан каким-либо обетом». Потом он спросил его, не разгневал ли он Бога грехом чревоугодия. «Да, и много раз», — отвечал сэр Чаппеллетто, глубоко вздохнув, потому что хотя он держал все посты в году, соблюдаемые благочестивыми людьми, и каждую неделю привык по крайней мере три раза поститься на хлебе и воде, тем не менее он пил воду с таким на-

слаждением и охотою, с каким большие любители пьют вино, особенно устав после хождения на молитву либо в паломничестве; часто также у него являлся аппетит к салату из трав, какой собирают крестьянки, отправляясь в поле; иногда еда казалась ему более вкусной, чем следовало бы, по его мнению, казаться тому, кто, подобно ему, постничает по благочестию. На это отвечал монах: «Сын мой, эти грехи в природе вещей, легкие, и я не хочу, чтобы ты излишне отягчал ими свою совесть. С каждым человеком, как бы он ни был свят, случается, что пища кажется ему вкусной после долгого голода, а питье после усталости». — «Не говорите мне этого в утешение, отец мой, — возразил Чаппеллетто, — вы знаете, как и я, что все, делаемое ради Господа, должно совершаться в чистоте и без всякой мысленной скверны; кто поступает иначе, грешит». Монах умилился: «Я очень рад, что таковы твои мысли, и мне чрезвычайно нравится твоя чистая, честная совестливость. Но, скажи мне, не грешил ли ты любостыжанием, желая большего, чем следует, удерживая, что бы не следовало?» Отвечал на это сэр Чаппеллетто: «Я не желал бы, отец мой, чтобы вы заключили обо мне по тому, что я в доме у этих ростовщиков; у меня нет с ними ничего общего, я даже приехал сюда, чтобы их усовершенствовать, убедить и отвратить от этого мерзкого промысла, и, может быть, успел бы в этом, если бы Господь не взыскал меня. Знайте, что отец оставил мне хорошее состояние, большую часть которого я подал, по его смерти, на милостыню; затем, чтобы самому существовать и помогать нищей братии во Христе, я стал понемногу торговать, желая тем заработать, всегда разделяя свои прибитки с божьими людьми, одну половину обращая на свои нужды, другую отдавая им. И так помог мне в том мой Создатель, что мои дела устраивались от хорошего к лучшему». — «Хорошо ты поступил, — сказал монах, — но не часто ли предавался ты гневу?» — «Увы, — сказал сэр Чаппеллетто, — этому, скажу вам, я предавался часто. И кто бы воздержался, видя ежедневно, как люди безобразничают, не соблюдая Божьих заповедей, не боясь Божьего суда? Несколько раз в день являлось у меня желание — лучше умереть, чем жить, когда видел я молодых людей, гоняющихся за соблазнами, клянувшихся и нарушающих клятву, бродящих по тавернам и не посещающих церкви, более следующих путям мира, чем путям Господа». — «Сын мой, — сказал монах, — это святой гнев,

и за это я не наложу на тебя эпитимии. Но, быть может, гнев побудил тебя совершить убийство, нанести кому-нибудь оскорбление или другую обиду?» — «Боже мой, — возразил сэр Чаппеллетто, — вы, кажется, святой человек, а говорите такие вещи! Да если бы у меня зародилась малейшая мысль совершить одно из тех дел, которые вы назвали, неужели, думаете вы, Господь так долго поддержал бы меня? На такие вещи способны лишь разбойники и злодеи; я же всякий раз, как мне случалось видеть кого-нибудь из таких, всегда говорил: «Ступай, да обратит тебя Господь!» Сказал тогда монах: «Скажи-ка мне, сын мой, да благословит тебя Господь, не лжесвидетельствовал ли ты против кого-нибудь, не злословил ли, не отбирал ли чужое против желания владельца?» — «Да, мессер, говорил я злое против другого: был у меня сосед, без всякого повода то и дело бивший свою жену; я однажды и сказал о нем дурное родственникам жены; такую я жалость почувствовал к этой бедняжке, которую он бог знает как колотил всякий раз, как напивался». — «Хорошо, — продолжал монах, — ты сказал мне, что был купцом; не обманывал ли ты кого, как то делают купцы?» — «Виноват, — отвечал сэр Чаппеллетто, — только не знаю, кого обманул: кто-то принес мне деньги за проданное ему сукно, я и положил их в ящик, не пересчитав, а месяц спустя нашел там четыре мелких монеты сверх того, что следовало; не видя того человека, я хранил деньги в течение года, чтобы отдать их ему, а затем подал их во имя Божие». — «Это дело маловажное, ты сделал хорошо, так распорядившись», — сказал монах. Кроме того, еще о многих других вещах расспрашивал его святой отец, и на все он отвечал таким же образом. Монах хотел уже отпустить его, как сэр Чаппеллетто сказал: «Мессер, за мной есть еще один грех, о котором я не сказал вам». — «Какой же?» — спросил тот, а этот отвечал: «Я припоминаю, что однажды велел своему слуге вымести дом в субботу, после девятого часа, позабыв должное уважение к воскресенью». — «Маловажное это дело, сын мой», — сказал монах. «Нет, не говорите, что маловажное, — сказал сэр Чаппеллетто, — воскресный день надо нарочито чтить, ибо в этот день воскрес из мертвых Господь наш». Сказал тогда монах: «Не сделал ли ты еще чего?» — «Да, мессер, — отвечал сэр Чаппеллетто, — однажды, позабывшись, я плюнул в церкви Божьей». Монах улыбнулся. «Сын мой, — сказал

он, — об этом не стоит тревожиться; мы, монахи, ежедневно там плюем». — «И очень дурно делаете, — сказал сэр Чаппеллетто, — святой храм надо паче всего содержать в чистоте, ибо в нем приносится жертва Божия». Одним словом, такого рода вещей он наговорил монаху множество, а под конец принялся вздыхать и горько плакать, что отлично умел делать, когда хотел. «Что с тобой, сын мой?» — спросил святой отец. Отвечал сэр Чаппеллетто: «Увы, мессер, один грех у меня остался, никогда я в нем не каялся, так мне стыдно открыть его: всякий раз, как вспомню о нем, плачу, как видите, и кажется мне, наверно, Господь никогда не смилуется надо мной за это прегрешение». — «Что ты это говоришь, сын мой? — сказал монах. — Если бы все грехи, когда бы то ни было совершенные людьми или имеющие совершиться до скончания света, были соединены в одном лице и человек тот так же бы раскаялся и умилился, как ты, то столь велики милость и милосердие Божие, что Господь простил бы их по своей благости, если бы он их исповедал. Потому говори, не бойся». Но сэр Чаппеллетто продолжал сильно плакать: «Увы, отец мой, — сказал он, — мой грех слишком велик, и я почти не верю, чтобы Господь простил мне его, если не помогут ваши молитвы». — «Говори без страха, — сказал монах, — я обещаю помолиться за тебя Богу». Сэр Чаппеллетто все плакал и ничего не говорил, а монах продолжал увещевать его. Долго рыдая, продержал сэр Чаппеллетто монаха в таком ожидании и затем, испустив глубокий вздох, сказал: «Отец мой, так как вы обещали помолиться за меня Богу, я вам откроюсь: знайте, что, будучи еще ребенком, я выбрал одну нажды мою мать!» Сказав это, он снова принялся сильно плакать. «Сын мой, — сказал монах, — и этот-то грех представляется тебе ужасным? Люди весь день богохульствуют, и Господь охотно прощает раскаявшихся в своем богохульстве; а ты думаешь, что он тебя не простит? Не плачь, утешься; уверяю тебя, если бы ты был из тех, кто распял его на кресте, он простил бы тебе: так велико, как вижу, твое раскаяние». — «Увы, отец мой, что это вы говорите! — сказал сэр Чаппеллетто. — Моя милая мама носила меня в течение девяти месяцев денно и нощно; и на руках носила более ста раз; дурно я сделал, что ее выбрал, тяжелый это грех! Если вы не помолитесь за меня Богу, не простится он мне». Когда монах увидел, что сэру Чаппеллетто не осталось сказать ничего более, он отпустил его и благословил,

считая его святым человеком, ибо вполне веровал, что все сказанное сэром Чаппеллетто правда. И кто бы не поверил, услышав такие речи от человека в час смертный? После всего этого он сказал: «Сэр Чаппеллетто, с Божьей помощью вы скоро выздоровеете, но если бы случилось, что Господь призовет к себе вашу благословенную и готовую душу, не заблагорассудите ли вы, чтобы ваше тело было погребено в нашем монастыре?» — «Да, мессер, — отвечал сэр Чаппеллетто, — и я не желал бы другого места, так как вы обещали молиться за меня, не говоря уже о том, что я всегда был особенно предан вашему ордену. Потому прошу вас, как вернетесь к себе, распорядиться, чтобы мне принесли истинное тело Христово, которое вы каждое утро освящаете на алтаре, ибо, хотя и недостойный, я желаю с вашего разрешения причаститься его, а затем удостоиться святого, последнего помазания, дабы, прожив в грехах, по крайней мере умереть христианином». Святой муж с радостью согласился, похвалил его намерение и сказал, что тотчас распорядится, чтобы ему все доставили. Так и было сделано.

Оба брата, сомневавшиеся, как бы не провел их сэр Чаппеллетто, поместились за перегородкой, отделявшей их от комнаты, где лежал сэр Чаппеллетто, и, прислушиваясь, легко могли слышать и уразуметь все, что сэр Чаппеллетто говорил монаху; слыша исповедь его проступков, они не раз готовы были прыснуть со смеха. «Вот так человек! — говорили они промеж себя. — Ни старость, ни болезнь, ни страх близкой смерти, ни страх перед Господом, на суд которого он должен предстать через какой-нибудь час, ничто не отвлекло его от греховности и желания умереть таким, каким жил». Услышав, что его обещали похоронить в церкви, они перестали заботиться о дальнейшем. Вскоре после того сэр Чаппеллетто причастился и, когда ему стало хуже через меру, соборовался; в тот же день, когда совершилась его примерная исповедь, вскоре после вечерни он скончался. Потому оба брата, приготовив на средства покойного приличные похороны и послав сказать монахам, чтобы они, по обычаю, явились вечером для всенощного бдения, а утром на погребение, устроили все для того необходимое.

Благочестивый монах, исповедовавший его, услышав об его кончине, переговорил с приором монастыря и, созвав колокольным звоном братию, рассказал им, какой святой че-

ловец был сэр Чаппеллетто, судя по его исповеди. Он выразил надежду, что ради него Господь проявит многие чудеса, и убеждал монахов принять его тело с подобающею честью и благоговением. Приор и легковверные монахи согласились; вечером отправились они туда, где лежало тело сэра Чаппеллетто; отслужили над ним большую торжественную панихиду, а утром в стихарях и мантиях, с книгами в руках и преднесением крестов, с пением отправились за телом и с большим почетом и торжеством отнесли его в церковь, сопровождаемые почти всем населением города, мужчинами и женщинами. Когда поставили его в церкви, святой отец, исповедовавший его, взойдя на амвон, начал проповедовать дивные вещи об его жизни и постничестве, девственности, об его простоте, невинности и святости и, между прочим, рассказал о том, что сэр Чаппеллетто, каясь, в слезах признал своим наибольшим грехом и как он насилу мог втолковать ему, что Господь простит ему. Затем, обратившись с укором к слушателям, он сказал: «А вы, проклятые Господом, хулите Бога и Матерь его и весь райский лик по поводу каждой соломинки, попавшей вам под ноги!» И много еще другого говорил он о его доброте и чистоте. Вскоре своими речами, к которым деревенский люд относился с полной верой, он так вбил им в головы благоговейные помыслы, что по окончании службы все в страшной давке бросились целовать ноги и руки покойника, разорвали в клочки бывшую на нем одежду; и счастливым считал себя тот, кому досталась хоть частичка. Пришлось оставить его таким образом в течение всего дня, дабы все могли видеть и лицезреть его. Когда наступила ночь, его благолепно похоронили в мраморной гробнице, в одной капелле; на следующий день стал понемногу приходить народ, ставить свечи и поклоняться и приносить обеты и вешать восковые фигурки — по обещанию. Так возросла молва об его святости и почитание его, что не было почти никого, кто бы в несчастье обратился к другому святому, а не к нему. Прозвали его и зовут San Ciappelletto и утверждают, что Господь ради него много чудес проявил и еще ежедневно проявляет тем, кто с благоговением прибегает к нему.

Вот как жил и умер сэр Чаппеллетто из Прато; так-то, как вы слышали, он сделался святым. Я не отрицаю возможности, что он сподобился блаженства перед лицом Господа, потому что, хотя его жизнь и была преступной и порочной, он мог под

конец принести такое покаяние, что, быть может, Господь смиловался над ним и принял его в царствие свое. Но это для нас тайна; рассуждая же о том, что нам видимо, я утверждаю, что ему скорее бы быть осужденным и в когтях диавола, чем в раю. Если это так, то мы можем познать в этом великую к нам милость Господа, который, взирая не на наше заблуждение, а на чистоту веры и, несмотря на то что мы делаем посредником его милосердия его же врага, которого принимаем за друга, так же внемлет нам, как если бы мы брали таким посредником действительно святого. Потому, дабы его благодать сохранила нас в этом веселом обществе целыми и здоровыми среди настоящих бедствий, восхвалим того, во имя которого мы собрались, вознесем ему почитания и поручим ему наши нужды, в твердой уверенности, что он нас услышит.

Тут Панфило умолк.

НОВЕЛЛА ВТОРАЯ

Еврей Авраам, вследствие увещаний Джуаннотто ди Чивиньи, отправляется к римскому двору и, увидя там развращенность служителей церкви, возвращается в Париж, где и становится христианином

Новелла Панфило, вызывавшая иногда смех у дам, в общем была одобрена. Ее выслушали со вниманием, и, когда она была окончена, королева велела Нейфила, сидевшей рядом с Панфило, рассказать и свою новеллу, следуя установленному порядку развлечения. Нейфила, отличавшаяся столько же приятностью обхождения, сколько и красотой, весело отвечала, что сделает это охотно, и начала так:

— Панфило в своем рассказе показал нам, что благодать Божия не взирает на наши заблуждения, если они исходят из причин, ускользающих от нашего ведения; я же хочу своим рассказом показать, что эта благодать, терпеливо перенося недостатки тех, которые должны были бы всеми своими действиями и словами свидетельствовать о ней истинно, а поступают наоборот, тем самым дает нам доказательство своей непреложности, дабы мы с тем большей твердостью духа следовали тому, во что веруем.

Мне рассказывали, любезные дамы, что в Париже жил один богатый купец и хороший человек, по прозванию Жианнотто ди Чивиньи, ведший обширную торговлю сукнами. Он был в большой дружбе с одним очень богатым евреем, по имени Авраам, также купцом и очень честным и прямым человеком. Жианнотто, зная его честность и прямоту, сильно сокрушался о том, что душа этого достойного, мудрого и хорошего человека, по недостатку веры, будет осуждена. Поэтому он принялся дружески просить его оставить заблуждения иудейской веры и обратиться к истинной христианской, которая, как он сам мог видеть, будучи святой и совершенной, постоянно преуспевает и множится, тогда как, наоборот, его религия умалется и приходит в запустение, — в чем он сам мог убедиться. Еврей отвечал, что он не знает более совершенной и святой религии, чем иудейская, и что он в ней родился, в ней намерен жить и умереть, и нет ничего, что бы могло отвлечь его от этого намерения. Это, однако, не остановило Жианнотто, и через несколько дней он снова обратился к нему с подобными же речами, доказывая ему попросту, как это умеют делать купцы, по каким причинам наша религия лучше иудейской. Хотя еврей был большим знатоком иудейского закона, тем не менее, по большой ли дружбе, которую он питал к Жианнотто, или повлияли на него речи, вложенные Святым Духом в уста простого человека, только ему стали очень нравиться доводы Жианнотто, хотя, продолжая упорствовать в своей вере, он не позволял обратить себя. Как он упорствовал, так и Жианнотто не переставал убеждать его, пока, наконец, еврей, побежденный этой настойчивостью, сказал: «Хорошо, Жианнотто, ты хочешь, чтобы я сделался христианином, и я готов на это, но с тем, что сперва отправлюсь в Рим, дабы там увидеть того, кого ты называешь заместителем Бога на земле, увидеть его нравы и образ жизни, а также его кардиналов; если они представляются мне таковыми, что по ним и из твоих слов я смогу убедиться в преимуществе твоей веры над моею, как это ты старался мне доказать, то я поступлю, как тебе сказал; коли нет, я как был, так и останусь евреем».

Вслушав это, Жианнотто был крайне опечален, говоря про себя: «Пропали мои труды даром, а между тем я думал употребить их с пользой, воображая, что уже обратил его. И в самом деле, если он отправится к римскому двору и посмотрится

на порочную и нечестивую жизнь духовенства, то не только не сделается из еврея христианином, но если бы и стал христианином, наверно перешел бы снова в иудейство». Затем, обратясь к Аврааму, Джианнотто сказал: «Друг мой, зачем хочешь ты подвергать себя такому труду и большим издержкам, сопряженным с путешествием в Рим? Не говоря уже о том, что для такого богатого человека, как ты, каждое путешествие, морем или сухим путем, исполнено опасностей, — уже не думаешь ли ты, что здесь не найдется никого, кто бы окрестил тебя? Если у тебя есть сомнения по вопросу о вере, которую я тебе разъяснял, где, как не здесь, найдешь ты больших ученых и более мудрых людей, которые растолкуют тебе, что пожелаешь или то, о чем спросишь? Вот почему, по моему мнению, это путешествие излишне. Представь себе, что там прелаты такие же, каких ты мог видеть и здесь, и даже лучше, потому что ближе к верховному пастырю. Итак, по моему совету, побереги этот труд до другого раза, для какого-нибудь хождения к святым местам; тогда, быть может, и я буду тебе спутником». На это еврей отвечал: «Я верю, Джианнотто, что все так, как ты говоришь, но, сводя многое в одно слово, скажу тебе (если ты хочешь, чтобы я сделал то, о чем ты меня так просил), что я окончательно решил ехать; иначе я не сделаю ничего». Видя его решимость, Джианнотто сказал: «Поезжай с Богом», а в то же время подумал про себя, что, если он увидит римский двор, никогда не сделается христианином. На этом он успокоился, так как теперь ему делать было нечего.

Еврей сел на коня и поспешно отправился ко двору в Рим. Прибыв туда, он был с почетом принят своими единоверцами евреями и жил там, не говоря никому о цели своего путешествия, осмотрительно наблюдая образ жизни Папы, кардиналов и других прелатов и всех придворных. Из того, что он заметил сам, будучи человеком очень наблюдательным, и того, что слышал от других, он заключил, что все они вообще прискорбно грешат сладострастием, не только в его естественном виде, но и в виде содомии, не стесняясь ни укорами совести, ни стыдом, почему для получения милостей влияние куртизанок и мальчиков было не малой силой. К тому же он ясно увидел, что все они были обжоры, опивалы, пьяницы, наподобие животных, служившие не только сладострастию, но и чреву, более чем чему-либо другому. Всматриваясь ближе, он

убедился, что все они были так стяжательны и жадны до денег, что продавали и покупали человеческую, даже христианскую кровь и божественные предметы, какие бы ни были, относились ли они до таинства или до церковных должностей. Всем этим они пуще торговали, и было на то больше маклеров, чем в Париже для торговли сукнами или чем иным. Открытой симонии они давали название заступничества, объединение называли подкреплением, как будто Богу не известны, не скажу, значения слов, но намерения развращенных умов, и его можно, подобно людям, обмануть названием вещей. Все это вместе со многим другим, о чем следует умолчать, сильно не нравилось еврею, как человеку умеренному и скромному, и потому, полагая, что он достаточно насмотрелся, он решил возвратиться в Париж, что и сделал.

Едва Джианнотто узнал, что он приехал, он пошел к нему, ни на что столь мало не рассчитывая, как на то, чтоб он стал христианином. Они радостно приветствовали друг друга, а когда еврей отдохнул несколько дней, Джианнотто спросил его, какого он мнения о святом отце, кардиналах и других придворных. На это еврей тотчас же ответил: «Худого я мнения, пошли им Бог всякого худа! Говорю тебе так потому, что, если мои наблюдения верны, ни в одном клирике ни святости, ни благочестия, ни добрых дел, ни образца для жизни или чего другого, а любострастие, обжорство, любостяжание, обман, зависть, гордыня и тому подобные и худшие пороки (если может быть что-либо хуже этого) показались мне в такой чести у всех, что Рим представился мне местом скорее дьявольских, чем Божьих начинаний. Насколько я понимаю, ваш пастырь, а следовательно, и все остальные со всяким тщанием, измышлением и ухищрением стараются обратить в ничто и изгнать из мира христианскую религию, тогда как они должны были бы быть ее основой и опорой. И так как я вижу, что выходит не то, к чему они стремятся, а что ваша религия непрестанно ширится, являясь все в большем блеске и славе, то мне становится ясно, что Дух Святой составляет ее основу и опору, как религии более истинной и святой, чем всякая другая. А потому я, твердо упорствовавший твоим увещаниям и не желавший сделаться христианином, теперь говорю откровенно, что ничто не остановит меня от принятия христианства. Итак, идем в церковь и там, следуя обрядам вашей святой веры, окрести меня». Джи-

аннотто, ожидавший совершенно противоположной развязки, услышав эти слова, был так доволен, как никогда. Отправясь с ним в собор Парижской Богоматери, он попросил тамошних клириков окрестить Авраама. Услышав требование, они тотчас же это и сделали. Джианнотто был его восприемником и дал ему имя Джованни. Впоследствии он поручил знающим людям наставить его вполне в нашей вере, которую он скоро усвоил, оказавшись потом человеком добрым, достойным и святой жизни.

НОВЕЛЛА ТРЕТЬЯ

*Еврей Мельхиседек рассказом о трех перстнях
устраняет большую опасность, уготованную ему
Саладином*

Когда Нейфила умолкла, окончив новеллу, встреченную общей похвалою, по желанию королевы так начала сказывать Филомена:

— Рассказ Нейфилы привел мне на память опасный случай, приключившийся с одним евреем; а так как о Боге и об истине нашей веры уже было прекрасно говорено и не покажется неприличным, если мы снизойдем теперь к человеческим событиям и действиям, я расскажу вам новеллу, выслушав которую, вы станете осторожнее в ответах на вопросы, которые могли бы быть обращены к вам. Вам надо знать, милые подруги, что как глупость часто низводит людей из счастливого в страшно бедственное положение, так ум извлекает мудрого из величайших опасностей и доставляет ему большое и безопасное успокоение. Что неразумие приводит от благосостояния к беде — это верно, как то видно из многих примеров, о которых мы не намерены рассказывать в настоящее время, имея в виду, что ежедневно их объявляются тысячи. А что ум бывает утешением, это я вам покажу, согласно обещанию, в коротком рассказе.

Саладин, доблесть которого не только сделала его из человека ничтожного султаном Вавилона, но и доставила ему многие победы над сарацинскими и христианскими королями, растратил в различных войнах и больших расходах свою казну; а так как по случайному обстоятельству ему оказалась нужда в большой сумме денег и он недоумевал, где ему добыть ее так

скоро, как ему понадобилось, ему пришел на память богатый еврей, по имени Мельхиседек, отдававший деньги в рост в Александрии. У него, думалось ему, было бы чем помочь ему, если бы он захотел; но он был скуп, по своей воле ничего бы не сделал, а прибегнуть к силе Саладин не хотел. Побуждаемый необходимостью, весь отдавшись мысли, какой бы найти способ, чтобы еврей помог ему, он замыслил учинить ему насилие, прикрашенное неким видом разумности. Призвав его и приняв дружески, он посадил его рядом с собою и затем сказал: «Почтенный муж, я слышал от многих лиц, что ты очень мудр и глубок в божественных вопросах, почему я охотно желал бы узнать от тебя, какую из трех вер ты считаешь истинной: иудейскую, сарацинскую или христианскую?» Иудей, в самом деле человек мудрый, ясно догадался, что Саладин ищет, как бы уловить его на слове, чтобы привязаться к нему, и размыслил, что ему нельзя будет превознести ни одну из трех религий за счет других так, чтобы Саладин все же не добился своей цели. И так как ему представлялась необходимость в таком именно ответе, с которым он не мог бы попасться, он наострил свой ум, быстро надумал, что ему надлежало сказать, и сказал: «Государь мой, вопрос, который вы мне сделали, прекрасен, а чтобы объяснить вам, что я о нем думаю, мне придется рассказать вам небольшую повесть, которую и послушайте. Коли я не ошибаюсь (а, помнится, я часто о том слыхивал), жил когда-то именитый и богатый человек, у которого в казне, в числе других дорогих вещей, был чудеснейший драгоценный перстень. Желая почтить его за его качества и красоту и навсегда оставить его в своем потомстве, он решил, чтобы тот из его сыновей, у которого обрелся бы перстень, как переданный ему им самим, почитался его наследником и всеми другими был почитаем и признаваем за набольшего. Тот, кому достался перстень, соблюдал тот же порядок относительно своих потомков, поступив так же, как и его предшественник; в короткое время этот перстень перешел из рук в руки ко многим наследникам и, наконец, попал в руки человека, у которого было трое прекрасных, доблестных сыновей, всецело послушных своему отцу, почему он и любил их всех трех одинаково. Юноши знали обычай, связанный с перстнем, и каждый из них, желая быть предпочтенным другим, упрашивал, как умел лучше, отца, уже престарелого, чтобы он, умирая, оставил ему перстень. Почтенный

человек, одинаково их всех любивший и сам недоумевавший, которого ему выбрать, кому бы завещать кольцо, обещанное каждому из них, замыслил удовлетворить всех троих: тайно велел одному хорошему мастеру изготовить два других перстня, столь похожих на первый, что сам он, заказавший их, едва мог признать, какой из них настоящий. Умирая, он всем сыновьям тайно дал по перстню. По смерти отца каждый из них заявил притязание на наследство и почет, и когда один отрицал на то право другого, каждый предъявил свой перстень во свидетельство того, что у него есть право. Когда все перстни оказались столь схожими один с другим, что нельзя было признать, какой из них подлинный, вопрос о том, кто из них настоящий наследник отцу, остался открытым, открыт и теперь. То же скажу я, государь мой, и о трех законах, которые Бог Отец дал трем народам и по поводу которых вы поставили вопрос: каждый народ полагает, что он владеет наследством и истинным законом, веления которого он держит и исполняет; но который из них им владеет — это такой же вопрос, как и о трех перстнях». Саладин понял, что еврей отлично сумел вывернуться из петли, которую он расставил у его ног, и потому решился открыть ему свои нужды и посмотреть, не захочет ли он услужить ему. Так он и поступил, объяснив ему, что он держал против него на уме, если бы он не ответил ему столь умно, как то сделал. Еврей с готовностью услужил Саладину такой суммой, какая требовалась, а Саладин впоследствии возвратил ее сполна да, кроме того, дал ему великие дары и всегда держал с ним дружбу, доставив ему при себе видное и почетное положение.

НОВЕЛЛА ЧЕТВЕРТАЯ

*Один монах, впад в грех, достойный тяжкой кары,
искусно уличив своего аббата в таком же проступке,
избегает наказания*

Уже Филомена умолкла, кончив свой рассказ, когда сидевший возле нее Дионео, не выждав особого приказания королевы, ибо знал, что по заведенному порядку ему приходится говорить, начал сказывать так:

— Любезные дамы, если я точно понял ваше общее намерение, то мы сошлись сюда затем, чтобы, рассказывая, забав-

лять друг друга. Поэтому я полагаю, что всякому, лишь бы он не шел наперекор этому правилу, дозволено (а что это так, нам сказала недавно королева) рассказать такую новеллу, которая, по его мнению, наиболее принесет удовольствия. Мы слышали, как Авраам спас свою душу благодаря благим советам Джианногто ди Чивиньи, как Мельхиседек своею находчивостью уберег свое богатство от ловушки Саладина; поэтому, не ожидая укоров с вашей стороны, я намерен кратко рассказать, какую хитростью один монах избавился от тяжкого наказания.

Был в Луниджьяне, области недалеко отсюда отстоящей, монастырь, более богатый святостью и числом монахов, чем теперь; в числе прочих был там молодой монах, силу и свежесть которого не могли ослабить ни посты, ни бдения. Однажды в полдень, когда все остальные монахи спали, а он один бродил вокруг своей церкви, находившейся в очень уединенном месте, он случайно увидел очень красивую девушку, быть может, дочь какого-нибудь крестьянина, которая ходила по полям, собирая травы. Едва увидел он ее, как им страшно овладело плотское вожделение; поэтому, приблизившись к ней, он вступил с нею в беседу, и так пошло дело от одного к другому, что он, стакнувшись с нею, повел ее в свою келью, так что никто того и не заметил. Пока, увлеченный слишком сильным вожделением, он баловался с нею, не особенно остерегаясь, случилось, что аббат, восстав от сна и проходя тихо мимо кельи, услышал шум, который они вдвоем производили. Чтобы лучше различить голоса, он осторожно подошел к двери кельи с целью прислушаться, распознал ясно, что внутри была женщина, и у него явилось искушение — велеть отворить себе; но затем он намыслил другой способ действия и, вернувшись в свою комнату, стал поджидать, пока монах выйдет. Монах же, хотя и отдавался величайшему наслаждению и удовольствию с той женщиной, не оставлял тем не менее и подозрений, и так как ему послышалось шарканье ног в dormitorio, он, приложив глаз к небольшой щели, увидел как нельзя более ясно, что аббат подслушивает, и отлично понял, что он мог дознаться о присутствии девушки в его келье. Зная, что за это ему последует большое наказание, он сильно опечалился; тем не менее, ничего не показав о своем горе девушке, он быстро сообразил многие средства, изыскивая, не найдется ли какое-нибудь для него спасительное; и пришла ему на ум необычайная хитрость, которая и привела прямо к задуманной им цели. Сделав вид,

что он уже достаточно пробыл с той девушкой, он сказал ей: «Я пойду посмотрю, как тебе выйти отсюда незамеченной; потому сиди смиренно, пока я не вернусь». Выйдя из кельи и заперев ее на ключ, он прямо отправился в покой аббата и, вручив ему ключ, как то делали, уходя, все монахи, с покойным видом сказал: «Мессер, сегодня утром я не успел велеть доставить все дрова, какие распорядился нарубить; потому, с вашего позволения, я пойду в лес и прикажу их привезти». Аббат, желая в точности разведать о проступке монаха и полагая, что он не догадался, что был им усмотрен, обрадовался такому случаю, охотно принял ключ и дал разрешение. Когда он увидел, что монах ушел, он принялся размышлять, как ему лучше поступить: отпереть ли келью в присутствии всей братии и обнаружить проступок, дабы потом у них не было повода роптать на него, когда он накажет монаха; либо наперед узнать от девушки, как было дело. Сообразив сам с собою, что то могла быть такая женщина либо дочь такого человека, которой он не желал бы учинить стыда, показав ее всем монахам, он решился наперед посмотреть, кто она, а затем и решиться на что-нибудь. Тихо направившись к келье, он отпер ее и, войдя, запер дверь. Увидев аббата, девушка, вся растерянная, боясь посрамления, пустилась в слезы, а отец аббат, окинув ее глазами и увидев, что она красива и молода, хотя и был стар, внезапно ощутив не меньше позывы плоти, чем молодой монах, начал так про себя рассуждать: «Почему бы мне не отведать удовольствия, когда я могу добыть его? А неприятности и досады ведь всегда наготове, лишь бы захотеть. Она девушка красивая, и что она здесь, никто в мире того не ведает; если мне удастся уговорить ее послужить моей утехе, я недоумеваю, почему бы мне того не сделать? Кто об этом узнает? Никто не узнает и никогда, а скрытый грех вполнину прощен. Такого случая, быть может, никогда не представится, и я полагаю великую мудрость в том, чтобы воспользоваться благом, коли Господь пошлет его кому-нибудь». Так говоря и совершенно изменив намерению, с каким отправился, он приблизился к девушке, принялся тихо утешать ее, прося не плакать; так, от слова к слову, он дошел до того, что открыл ей свои желания. Девушка была не из железа и не из алмаза и очень легко склонилась на желание аббата. Обняв и поцеловав ее много раз, он взобрался на постель монаха и, взяв во внимание почтенный вес своего достоинства и юный возраст девушки, а может быть, боясь повредить ей излишней

тяжестью, не возлег на нее, а возложил на себя и долгое время с нею забавлялся.

Монах, будто бы ушедший в лес, скрылся в dormitorio и, как только увидел, что аббат один вошел в келью, совершенно успокоился, полагая, что его расчет будет иметь свое действие; увидев, что аббат заперся, он счел, что действие будет вернейшее. Выйдя из того места, где он обретался, он тихо подошел к щели, через которую слышал и видел все, что говорил либо делал аббат. Когда аббату показалось, что он достаточно пробыл с девушкой, он запер ее в келье и вернулся в свою комнату; спустя некоторое время, услышав шаги монаха и полагая, что он вернулся из леса, он решил сильно пожурить его и приказать заключить, дабы одному владеть доставшейся добычей. Велев позвать его, он строго и с грозным видом побранил его и распорядился, чтобы его заперли в тюрьму. Монах тотчас же возразил: «Мессер, я еще недавно состою в ордене св. Бенедикта и не мог научиться всем его особенностям, а вы еще не успели наставить меня, что монахам следует подлежать женщинам точно так же, как постам и бдениям. Теперь, когда вы это мне показали, я обещаю вам, коли вы простите мне на этот раз, никогда более не грешить этим, а всегда делать так, как, я видел, делали вы». Аббат, человек догадливый, тотчас постиг, что монах не только более смыслит в деле, но и видел все, что он делал; потому, угрызенный сознанием собственного проступка, он устыдился учинить монаху то, что сам, подобно ему, заслужил. Простив ему и наказав молчать о виденном, вместе с ним осторожно вывел девушку, и, надо полагать, они не раз приводили ее снова.

НОВЕЛЛА ПЯТАЯ

Маркиза Монферратская обедом, приготовленным из кур, и несколькими милыми словами подавляет безумную к ней страсть французского короля

Новелла, рассказанная Дионео, на первых порах слегка уязвила стыдом сердца слушавших дам, знаком чего был стыдливый румянец, показавшийся на их лицах, затем, переглядываясь между собою и едва удерживаясь от смеха, они, хихикая, дослушали рассказ. Когда он пришел к концу и они укорили

рассказчика несколькими милыми словами, желая дать ему понять, что подобные новеллы не следует рассказывать дамам, королева, обратившись к Фьямметте, сидевшей с ней рядом на траве, приказала ей продолжать очередь. Грациозно и с веселым видом Фьямметта начала так:

— Так как мне пришлось по нраву, что нашими новеллами мы принялись доказывать, какова сила находчивых, быстрых ответов, и по той же причине, что если в мужчине большим благоразумием является всегда искать любви женщины более родовитой, чем он, то в женщине величайшей осмотрительностью — уметь уберечься от любви к мужчине выше ее по положению: мне пришло в голову, прекрасные мои дамы, показать вам новеллой, которую мне приходится рассказать, как и какими поступками и словами одна благородная дама и сама сумела от одного уберечься, и другое устранить.

Маркиз Монферратский, человек высокой доблести и гонфалоньер церкви, отправился за море в общем вооруженном хождении христиан. Когда однажды зашла речь о его храбрости при дворе короля Филиппа Кривого, также собиравшегося из Франции в тот же поход, какой-то рыцарь сказал, что под звездным сводом не найти другой такой пары, как маркиз и его супруга, потому что насколько между рыцарями маркиз был славен всякою доблестью, настолько его жена была красивейшею и достойнейшею между женщинами всего света. Слова эти так глубоко запали в душу французского короля, что, никогда не выдав ее, он внезапно воспылал к ней любовью и решил сесть на корабли для похода, в который снаряжался только в Генуе, дабы, отправившись туда сухим путем, иметь благовидный предлог посетить маркизу, рассчитывая, что, так как маркиза дома не было, ему представится возможность исполнить свое желание. И как задумал, так и сделал, потому что, отправив всех вперед, он с небольшой свитой дворян выступил в путь и, приблизившись к владениям маркиза, за день послал сказать его жене, чтобы она ждала его на следующее утро к обеду. Маркиза, умная и догадливая, велела любезно ответить, что эта милость для нее выше всех других и что король будет желанным гостем. Затем она раздумалась, что бы это могло означать, что такой король готовится посетить ее в отсутствие ее мужа; и она не ошиблась в предположении, что его привела к ней молва об ее красоте. Тем не менее, как умелая женщина,

она решилась принять его с честью и, велев позвать оставшихся дома вельможных людей, с помощью их совета распорядилась приготовить все нужное; но относительно обеда и припасов она пожелала озаботиться сама: приказав тотчас же собрать всех кур, какие только нашлись в окрестности, она из них одних заказала своим поварам кушанья для королевского стола. И вот король явился в назначенный день и был принят дамой с большим торжеством и почетом. Когда он увидел ее, она показала ему гораздо более красивой, достойной и учливой, чем он представлял ее себе со слов рыцаря, и он сильно любовался ею и хвалил, тем более возгораясь в своих желаниях, чем более убеждался, что маркиза превышала его прежнее представление о ней. Когда он немного отдохнул в покоях, убранных всем, что подобало для принятия такого, как он, короля, и настал час обеда, король и маркиза уселись за одним столом, а прочие были чествуемы, согласно своему званию, за другими столами. Многочисленные блюда, поочередно подносимые, превосходные, драгоценные вина приносили великую утеху королю, с удовольствием поглядывавшему порой на прелестную маркизу. Тем не менее, когда одно блюдо стало являться за другим, король пришел в некое изумление, распознав, что хотя кушанья были и разные, но все изготовлены не из чего другого, как из кур. Королю хорошо известно было, что местность, где он находился, должна была изобиловать разной дичью и что, наперед объявив даме о своем прибытии, он тем самым дал ей время и срок для охоты; тем не менее, хотя и сильно удивленный, он пожелал объясниться с нею только по поводу кур; с веселым видом обратясь к маркизе, он сказал: «Разве в этой стране выводятся одни куры без петуха?» Маркиза отлично уразумела вопрос, и так как ей показалось, что сам Господь Бог послал ей удобный случай выразить свои помышления, она отвечала: «Нет, государь мой, но здешние женщины, хотя и несколько отличны от других одеждой и почетом, созданы так же, как и в других местах». Услышав эти слова, король хорошо понял повод к обеду из кур и тайный смысл речей и убедился, что с такой женщиной нечего тратить слова и нет места для насилия и что как сам он опрометчиво воспылал к ней, так поступит мудро и к своей чести, потушив не к добру разгоревшееся пламя. Не продолжая шуточного разговора из боязни ответов маркизы, он отобедал, оставив всякую надежду; когда

обед кончился, он, дабы поспешным отъездом прикрыть нечестную цель своего посещения, поблагодарил ее за оказанные ему почести и, поручив ее Божию покровительству, отправился в Геную.

НОВЕЛЛА ШЕСТАЯ

*Некто уличает метким словом злостное
лицемерие монахов*

Когда все одобрили добродетель маркизы и милый урок, данный ею французскому королю, Эмилия, сидевшая рядом с Фьямметтой, по желанию своей королевы, смело начала рассказ:

— И я также не умолчу, как один почтенный мирянин уязвил скупого монаха словом столь же потешным, как и достойным похвалы.

Жил недавно, милые девушки, в нашем городе некий минорит, инквизитор нечестивой ереси, который, хотя и старался, как все они делают, казаться святым и рьяным любителем христианской веры, в то же время был не менее хорошим исследователем людей с туго набитым кошельком, чем тех, кто страдал умалением веры. При этой его ревности он случайно попал на одного порядочного человека, гораздо более богатого деньгами, чем умом, у которого, не по недостатку веры, а, говоря попросту, потому, вероятно, что он был возбужден вином и избытком веселья, сорвалось однажды в своем кругу слово, будто у него такое хорошее вино, что от него отведал бы и Христос. Когда о том донесли инквизитору, он, узнав, что у него были большие поместья и тугой кошелек, *cum gladiis et fustibus* и с великой поспешностью начал против него строжайший иск, ожидая от него не умаления неверия в обвиняемом, а наполнения собственных рук флоринами, как то и случилось. Вызвав его, он спросил, правда ли то, что о нем сказывают. Простак отвечал, что правда, и сказал, как было дело. На это святейший инквизитор, особый почитатель св. Иоанна Златоуста, сказал: «Итак, ты сделал Христа пьяницей, любителем добрых вин, точно он Чинчильоне или кто-нибудь из вашей братии, пьяниц и завсегдатаев таверн? А теперь ты ведешь смиренные речи, желая дать понять, что это дело пустое. Не таково оно, как тебе кажется: ты заслужил за это костер, коли

мы захотим поступить с тобой, как обязаны». Такие и многие другие речи он вел с ним с угрожающим видом, как будто тот был сам Эпикур, отрицающий бессмертие души. В короткое время он так настрашал его, что простак поручил неким посредникам умастить его руки знатным количеством мази св. Иоанна Златоуста (сильно помогающей против заразного недуга любостяжания клириков и особенно миноритов, которым не дозволено прикасаться к деньгам), дабы он поступил с ним по милосердию. Эту мазь, как вполне действительную, хотя Гален и не говорит о ней ни в одном из своих медицинских сочинений, он пустил в дело так и в таком обилии, что огонь, которым ему пригрозили, милостиво сменился знаком креста, а дабы флаг был красивее — точно кающемуся предстояло идти в крестовый поход, — положили ему желтый крест на черном фоне. Кроме того, получив деньги, инквизитор задержал его на несколько дней при себе, положив ему в виде эпитимии каждое утро быть у обедни в Санта Кроче и представляться ему в обеденный час; в остальную часть дня ему предоставлено было делать, что угодно. Все это он исполнял прилежно, когда однажды утром услышал за обедней Евангелие, из которого пелись следующие слова: «Вам воздастся сторицею, и вы унаследуете жизнь вечную». Точно удержав их в памяти и явившись, согласно приказанию, перед лицо инквизитора в час обеда, он застал его за столом. Инквизитор спросил его, был ли он у обедни этим утром. «Да, мессер», — поспешно ответил он. На это инквизитор сказал: «Не услышал ли ты при этом чего-нибудь, что вызвало в тебе сомнение и о чем ты желаешь спросить?» — «Поистине, — отвечал простак, — ни в чем, что я слышал, я не сомневаюсь, напротив, все твердо почитаю истинным. Слышал я, правда, кое-что, что возбудило во мне и еще возбуждает сильное сожаление к вам и вашей братии, монахам, когда подумаю я о несчастном положении, в котором вы обрететесь на том свете». Сказал тогда инквизитор: «Что это за слово, что побудило тебя к такому о нас сожалению?» Простак отвечал: «Мессер, то было слово Евангелия, говорящее: «Воздается вам сторицею». Инквизитор сказал: «Воистину так, но почему же эти слова расстроили тебя?» — «Я объясню вам это, мессер, — отвечал простак, — с той поры, как я стал ходить сюда, я видел, как каждый день подают отсюда множеству бедного люда чан, а иногда и два большущих чана с похлебкой,

которую отнимают у вас и у братии этого монастыря как лишнюю; потому, если на том свете за каждый чан вам воздастся сторицею, у вас похлебки будет столько, что вам всем придется в ней захлебнуться». Хотя все другие, бывшие за столом у инквизитора, рассмеялись, инквизитор, почувствовав, что укол обращен против их похлебочного лицемерия, совсем смутился, и если бы не стыд за вчиненное простачу дело, он вчинил бы ему другое за то, что потешной остротой он уколол и его и других тунеядцев. С досады он разрешил ему делать, что заблагорассудится, и больше к нему не являться.

НОВЕЛЛА СЕДЬМАЯ

*Бергамино своим рассказом о Примасе и аббате
Клюньи ловко уличает необычную скупость
Кане делла Скала*

Забавный тон Эмилии и ее новелла заставили и королеву и всех остальных смеяться, выхваливая небывалую выходку крестоносца. Когда смех прекратился и все успокоились, Филострато, за которым была очередь рассказывать, начал так:

— Хорошо, достойные дамы, попасть в цель, которая не движется, но граничит почти с чудом, если что-нибудь необычайное покажется внезапно и стрелок внезапно же попадет в него. Греховная и грязная жизнь клириков, являющаяся во многих случаях почти точным показателем порочности, легко дает повод говорить о ней, укорять ее и порицать всякому, кто того желает; потому, хотя и хорошо сделал тот добрый человек, уличив инквизитора в лицемерном милосердии монахов, отдающих беднякам, что подобало бы отдать свиньям или выбросить, — более похвалы заслуживает, по моему мнению, тот, о котором я намерен рассказать, будучи наведен на то предыдущей новеллой: мессера Кане делла Скала, щедрого государя, он уязвил за внезапно и необычно проявившуюся в нем скупость, рассказав ему новеллу и в другом лице изобразив, что хотел сказать о себе и о нем. Рассказ следующий.

Как по всему свету гласит славная молва, мессер Кане делла Скала, которому счастье благоприятствовало во многом, был одним из самых замечательных и щедрых властителей, какие только известны были в Италии от времен императора

Фридриха II и до сих пор. Затеяв устроить в Вероне знатное, чудесное празднество, к которому явилось бы со всех сторон множество народу, особенно потешных людей всякого рода, он внезапно, какая бы тому ни была причина, раздумал и, наградив некоторых из прибывших, отпустил их. Один только Бергамино, находчивый и красноречивый рассказчик, каким не представит его себе никто, кто его не слышал, не будучи ни награжден, ни отпущен, остался в надежде, что это случилось, быть может, не без будущей для него выгоды. Но у Кане засела мысль, что дать ему что-либо — хуже потратить, чем если бы бросить в огонь, и он не говорил и не поручал передать ему о том ни слова. По прошествии нескольких дней, когда Бергамино увидел, что его не зовут и ничего не требуют от его ремесла и что, кроме того, он со своими конями и слугами проживается в гостинице, его стала забирать меланхолия; а он все еще выжидал, полагая, что будет не ладно, если он уедет. С собою он привез три прекрасных, дорогих костюма, подаренных ему другими синьорами, чтобы с почетом предстать на праздник, но так как хозяин требовал платы, он сначала отдал ему один костюм, затем, оставшись более долгое время, второй и принялся уже питаться на счет третьего, решив остаться и посмотреть, на сколько его хватит, а там и уехать. И вот, когда он уже начал питаться на счет третьего, случилось однажды, что, когда мессер Кане сидел за обедом, Бергамино предстал перед ним с печальным видом. Увидел его мессер Кане и сказал, более затем, чтоб помучить его, чем потешиться какой-нибудь его прибауткой: «Что с тобой, Бергамино? Ты так печален; расскажи нам что-нибудь». Тогда Бергамино, недолго думая, но словно долго о том поразмыслив, тотчас рассказал, чтобы поправить свои дела, следующую новеллу:

«Государь мой, вам должно быть известно, что Примас был большой знаток латыни и, паче всякого другого, замечательный и находчивый стихотворец, и эти качества сделали его столь знаменитым и славным, что, если лично его и не везде знали, не было почти никого, кто бы не знал по имени и молве, кто такой Примас. Случилось однажды, что он был в Париже в нищем виде, в каком большею частью обретался, потому что его доблести мало ценились людьми состоятельными, и здесь услышал, как рассказывали об аббате Ключни, которого считают самым богатым, по доходам, прелатом, какие только есть

в Божией церкви, за исключением Папы; слышал он дивные вещи о его щедрости и что при его дворе постоянный праздник и никому, кто бы ни явился туда, не было запрета есть и пить, лишь бы попросился, когда аббат за столом. Услышав о том, Примас, любивший водиться с именитыми людьми и синьорами, решил пойти и убедиться воочию в щедрости этого аббата и спросил, далеко ли он живет от Парижа. Ему отвечали, что милях в шести, в своем поместье, и Примас рассчитал, что, выйдя рано утром, он может прибыть туда к обеденному часу. Попросив указать себе дорогу и не найдя никого, кто бы направлялся туда же, он побоялся, как бы ему, на его несчастье, не сбиться с пути и не зайти в такое место, где не так-то легко будет найти, что поесть; вот почему, на случай, если бы это приключилось и дабы ему не терпеть недостатка в пище, он решил захватить с собою три хлеба, полагая, что воду (хотя она ему и не особенно была по вкусу) он найдет всюду. Положив хлеба за пазуху, он отправился в путь, и так удачно, что ко времени обеда пришел к месту, где находился аббат. Войдя, он начал озираться кругом и, увидев множество накрытых столов и большие приготовления на кухне и все другое, потребное для обеда, сказал про себя: в самом деле этот аббат так щедр, как о нем говорят. Когда он некоторое время разглядывал кругом, сенешаль аббата велел подать воды для омовения рук, так как настал час обеда, и, когда подали воду, рассадил всех за столом. Случилось так, что Примаса посадили как раз против двери, из которой аббат должен был выйти в столовую. Был при его дворе такой обычай, что на стол никогда не подавалось ни вина, ни хлеба и никакой еды и питья, пока не сел аббат. Когда сенешаль накрыл на стол, велел доложить аббату, что ждет его приказа, а обед готов. Аббат велел открыть покой, откуда был выход в залу; проходя, посмотрел вперед себя, и первый, случайно попавшийся ему на глаза, был Примас, плохо одетый и по виду ему незнакомый. Увидел его, и тотчас же взбрела ему на ум нехорошая мысль, никогда дотоле не приходившая ему: кого только я кормлю от моего достатка! Вернувшись к себе, он велел запереть дверь и спросил бывших с ним, не знает ли кто того бродягу, что сидит за столом прямо против двери его комнаты? Все отвечали, что не знают. Примаса с прогулки и непривычки поститься разбирал голод; подождав немного и увидя, что аббат не выходит, он вынул из-за пазухи один из трех

хлебов, которые принес с собою, и принялся есть. Обождая некоторое время, аббат приказал одному из своих приближенных посмотреть, не ушел ли Примас. Тот отвечал: «Нет, мессер, напротив, он ест хлеб, и это доказывает, что он принес его с собою». — «Пусть ест свое, коли есть, — сказал аббат, — а нашего сегодня он есть не будет». Ему хотелось, чтобы Примас сам собою ушел, ибо ему казалось неприличным спровадить его. Когда съеден был один хлеб, а аббат не являлся, Примас принялся за второй; и это также доложено было аббату, велевшему поглядеть, не убрался ли он. Наконец, когда аббат все еще не выходил, Примас, съев второй хлеб, начал есть и третий. Когда о том сказали аббату, он начал так размышлять, говоря про себя: «Что это за небывальщина пришла мне сегодня в голову? Что за скупость, что за озлобление — и к кому же? Сколько лет кормил я с моего стола всех желающих есть, невзирая на то, дворянин ли то был или крестьянин, бедный или богатый, именитый ли то был человек или обманщик; собственными глазами видел я, как мое добро пожирали бесчисленные бродяги, и никогда мне в голову не приходила мысль, которую я питаю по отношению к этому человеку. Наверно, скарденность овладела мною не к простому человеку: в том, кто мне представляется бродягой, должно быть нечто особенное, если мой дух оказался столь неподатливым к чествованию его. Сказав это, аббат пожелал узнать, кто он такой; узнав, что это Примас, пришедший поглядеть на его щедрость, о которой наслышался, и издавна известный аббату по слухам за достойного человека, он устыдился и, желая загладить вину, принялся убаживать его на разные лады. После обеда велел его богато одеть, как приличествовало достоинству Примаса, и, снабдив его деньгами и конем, предоставил ему выбор: остаться у него или уехать. Довольный этим, Примас воздал ему отменную благодарность и верхом вернулся в Париж, откуда пришел пешком.

Мессер Кане, как человек разумный, отлично понял, без всяких разъяснений, что разумел Бергамино, и, улыбаясь, сказал: «Бергамино, ты очень ловко показал свою обиду и искусство и мою скарденность — и то, чего ты от меня желаешь; поистине никогда скупость не овладевала мною, как только теперь, по отношению к тебе; но я прогоню ее той самой палкой, которую ты изобрел». И, велев уплатить хозяину Бергамино, одев его в свое богатое платье, снабдив деньгами и конем, предоставил на этот раз на его произвол — уехать или остаться при нем.

НОВЕЛЛА ВОСЬМАЯ

*Гвильельмо Борсьере в тонких выражениях укоряет
в скупости мессера Эрмино де Гримальди*

Рядом с Филострато сидела Лауретта; выслушав похвалы, которые расточали находчивости Бергамино, и зная, что ей придется рассказать нечто, она, не ожидая приказания, так начала свой рассказ:

— Предыдущая новелла побуждает меня, дорогие подруги, рассказать, каким образом один умелый потешник подобным же образом и небезуспешно укорил в скупости богатейшего купца; и хотя эта новелла по своему содержанию и походит на прошлую, она будет вам не менее приятна, коли вы возьмете в расчет, какое в ее развязке получилось благо.

Итак, жил в Генуе много времени тому назад родовитый человек по имени мессер Эрмино де Гримальди, далеко превосходивший, как все полагали, богатством в громадных имениях и деньгах богатейших граждан, каких только знали в Италии. И как богатством он превосходил всех итальянских богачей, так, и через меру, скупостью и скаредностью всех скупцов и скряг на свете, ибо не только не открывал кошелька, чтобы помочь другим, но и сам, против обыкновения генуэзцев, привыкших богато рядиться, претерпевал, лишь бы только не тратиться, большие лишения во всем, равно как в еде и питье. Вот почему, и по заслугам, его фамилия — де Гримальди — предана была забвению, и все звали его мессер Эрмино Скареда. В то время как, ничего не тратя, он преумножал свое достояние, случилось, что в Геную прибыл умелый потешный человек, благовоспитанный и красноречивый, по имени Гвильельмо Борсьере, не похожий на нынешних, которых, к стыду людей развращенных и презренных, желающих в наше время зваться и считаться благородными, скорее следовало бы прозвать ослами, воспитанными среди грязной и порочной черни, а не при дворе. Тогда как в те времена ремеслом и делом потешных людей было улаживать мировые в случае распрей и недовольств, возникавших между господами, заключать брачные и родственные союзы и дружбу, развеселять прекрасными, игривыми речами усталых духом, потешать дворы и резкими упреками, точно отцы, укорять порочных в их недостатках — и все это за малое вознаграждение: теперь они ухитряются уби-

вать свое время, перенося злые речи от одного к другому, сея плевелы, рассказывая мерзости и непристойности и, что хуже, совершая то и другое в присутствии людей, возводя друг на друга все дурное, постыдное и мерзкое, действительное или нет; и тот из них более люб, того более почитают и поощряют большими наградами жалкие и безнравственные синьоры, кто говорит и действует гнуснее других: достойный порицания стыд настоящего времени — ясное доказательство того, что добродетели, удалившись отсюда, оставили бедное человечество погрязать в пороках.

Возвращаясь к тому, с чего я начала и от чего удалило меня немного, против ожидания, справедливое негодование, скажу, что упомянутого Гвильельмо встретили с почетом и охотно принимали именитые люди Генуи. Пробыв несколько дней в городе и услышав многое о скупости и скряжничестве мессера Эрмино, он возымел желание увидеть его. Мессер Эрмино слышал, что Гвильельмо Борсьере — человек достойный, и так как в нем, несмотря на его скупость, была искорка благородства, принял его с дружественными речами и веселым видом, вступил с ним во многие и разнообразные беседы и, разговаривая, повел его и бывших с ним генуэзцев в новый красивый дом, который построил себе, и, показав его, сказал: «Мессер Гвильельмо, вы видели и слышали многое, не укажете ли вы мне что-нибудь, нигде не виданное, что бы я мог велеть написать в зале этого дома?» Услышав эти неподходящие речи, Гвильельмо сказал: «Мессер, не думаю, чтобы я сумел указать вам на вещь невиданную — разве на чох или что-либо подобное; но коли вам угодно, я укажу вам на одно, чего, полагаю, вы никогда не видали». Мессер Эрмино сказал: «Прошу вас, скажите, что это такое?» Он не ожидал, что тот ответит, как ответил. На это Гвильельмо внезапно сказал: «Велите написать: «Благородство». Когда мессер Эрмино услышал эти слова, им внезапно овладел стыд настолько сильный, что он изменил его настроение духа в почти противоположное тому, каким оно было дотоле. «Мессер Гвильельмо, — сказал он, — я велю написать его так, что ни вы и никто другой никогда не будете иметь основания сказать мне, что я не видел и не знавал его». С этих пор и впредь (такую силу оказало слово Гвильельмо) он стал наиболее щедрым и приветливым дворянином, чествовавшим иностранцев и горожан, чем кто-либо другой в Генуе в его время.

НОВЕЛЛА ДЕВЯТАЯ

*Король Кипра, задетый за живое одной гасконской
дамой, из малодушного становится решительным*

Оставалось лишь Элизе получить последнее приказание королевы; не ожидая его, она весело начала так:

— Часто случалось, юные дамы, что чего не сделали с человеком разные укоруы и многие наказания, то делало одно слово, нередко случайно, не то что намеренно сказанное. Это очень хорошо видно из новеллы, рассказанной Лауреттой, и я хочу доказать вам то же коротким рассказом, ибо хорошие рассказы всегда служат на пользу и их надо слушать со вниманием, кто бы ни был их рассказчиком.

Итак, скажу, что во времена первого кипрского короля, по завоевании святой земли Готфридом Бульонским, случилось одной именитой гасконской даме отправиться в паломничество ко гробу Господню и на обратном пути пристать в Кипре, где какие-то негодяи нанесли ей постыдное оскорбление. Не находя удовлетворения и сетуя, она решила обратиться к королю, но кто-то сказал ей, что труд будет напрасен, ибо король так малодушен и ничтожен, что не только не карает по закону оскорбления, нанесенные другим, но с презренной трусостью терпит множество оскорблений, учиняемых ему самому, почему всякий, у которого накопело какое-либо неудовольствие, срывал его на нем, нанося ему обиды и стыдя его. Услышав об этом и отчаявшись получить удовлетворение, дама решила, дабы чем-нибудь утолить свой гнев, укорить короля в его малодушии, и, отправившись к нему, с плачем сказала: «Государь мой, я пришла пред лицо твое не потому, что ожидаю удовлетворения за нанесенную мне обиду, а чтобы попросить тебя, в воздаяние за нее, научить меня переносить, подобно тебе, учиняемые тебе, как слышно, оскорбления, дабы, наученная тобой, я могла терпеливо перенести мое собственное, которое, Бог тому свидетель, я охотно уступила бы, если бы могла, тебе: ты ведь такой выносливый!»

Король, до тех пор медлительный и ленивый, точно пробудился от сна и, начав с обиды, учиненной той женщине, за которую строго наказал, стал с тех пор и впредь сурово преследовать всех, что-либо учинивших противное чести его венца.

НОВЕЛЛА ДЕСЯТАЯ

Маэстро Альберто из Болоньи учтиво стыдит одну женщину, желавшую пристыдить его любовью к ней

Элиза умолкла; обязательство последнего рассказа оставалось за королевой, которая с женственной грацией начала говорить:

— Достоянные девушки, как в ясные ночи звезды — украшение неба, а весной цветы — краса зеленых полей, так добрые нравы и веселую беседу красят острые слова. По своей краткости они гораздо более приличествуют женщинам, чем мужчинам, потому что много и долго говорить, когда без того можно обойтись, менее пристойно женщинам, чем мужчинам, хотя теперь мало или вовсе не осталось женщин, которые понимали бы тонкую остроту или, поняв ее, сумели бы на нее ответить — к общему стыду нашему, да и всех живущих. Потому что ту умелость, которая отличала дух прежних женщин, нынешние обратили на украшение тела, и та, на которой платье пестрее и больше на нем полос и украшений, полагает, что ее следует и считать выше и почитать более других, не помышляя о том, что если б нашелся кто-нибудь, кто бы все это навьючил и навесил на осла, осел мог бы снести гораздо большую ношу, чем любая из них, и что за это его сочли бы не более, как все тем же ослом. Стыдно говорить мне это, потому что не могу я сказать про других, чего бы не сказала против себя: так разукрашенные, подкрашенные, пестро одетые, они стоят словно мраморные статуи, немые и бесчувственные, и так отвечают, когда их спросят, что лучше было бы, если бы они промолчали; а они уверяют себя, что их неумение вести беседу в обществе женщин и достойных мужчин исходит от чистоты духа, и свою глупость называют скромностью, как будто та женщина и честна, которая говорит лишь со служанкой или прачкой или своей булочницей; ведь если б природа того хотела, как они в том уверяют себя, другим бы способом ограничила их болтливость. Правда, и в этом деле, как в других, надо брать в расчет время и место и лицо, с кем говоришь, ибо иногда случается, что женщина и мужчина думают острым словцом заставить покраснеть кого-нибудь, но не соразмеряют хорошенько свои силы с силами другого и ощущают, что та краска стыда, которую они хотели навести на него, обращается на них самих. И вот для

того, чтобы мы умели остеречься, и еще затем, чтобы на вас не оправдалась всюду ходящая пословица, что женщинам во всяком деле достается худшее, я желаю поучить вас последней из новелл этого дня, которую мне предстоит рассказать, дабы как благородством духа вы выделяетесь от других, так показали себя отличием и превосходством манер.

Не много лет прошло, как в Болонье жил, а может быть, еще и живет, знаменитейший и почти во всем свете славный медик, по имени Альберто. Уже старик под семьдесят лет, он обладал столь благородным духом, что, хотя естественный жар почти покинул его тело, он не избегал любовного пламени и, увидев на одном празднике красавицу вдову, по имени, как говорят, Мальгерита де Гизольери, сильно ему понравившуюся, воспринял это пламя в свою матерую грудь, как бы то сделал юноша; и ему казалось, что он не уснет спокойно ночью, коли в предшествовавший день не поглядит на прелестное и нежное личико красавицы. По этой причине он постоянно показывался то пешком, то верхом, смотря по тому, как приходилось, перед домом той дамы, так что и она и многие другие догадались о причине его появлений и часто шутили промеж себя, что человек столь зрелый годами и умом — влюбился; точно они полагали, что прелестнейшая страсть любви содержится и обитает лишь в неразумных юношеских душах, а не в других. Когда маэстро Альберто продолжал являться, случилось однажды в праздник, что та дама, а с нею много других, сидели перед дверью ее дома, и, когда они увидели издали направлявшегося к ним маэстро Альберто, все вместе решили просить его к себе и оказать ему почет, а затем поглумиться над его страстью. Так и сделали; ибо встав и пригласив его, повели его на прохладный двор, куда велели принести тонких вин и лакомств, а под конец в приятной и игривой форме задали ему вопрос: как могло статься, что он воспылал любовью к этой красавице, зная, что в нее влюблены многие красивые, благородные, прекрасные юноши? Поняв тонкий укор, маэстро отвечал с веселым видом: «Что я люблю, мадонна, не должно удивлять человека мудрого; особенно, что я люблю вас, ибо вы того стоите. И хотя у стариков, естественно, недостает сил, потребных для упражнения в любви, вместе с тем не отнято у них ни желание, ни понимание того, что значит быть любимым; а это они, естественно, тем более понимают, что у них и разумения больше, чем у юношей.

А надежда, побуждающая меня любить вас, мадонна, любимую столькими молодыми людьми, в следующем: я много раз видел, как женщины ели лупины и порей; и хотя в порее ни одна часть не вкусна, менее дурна и приятнее на вкус его головка, вы все вообще, побуждаемые развращенным аппетитом, ее-то и держите в руках, а едите листья, не только ни к чему не годные, но и неприятные на вкус. Почем я знаю, мадонна, что, и выбирая ухаживателей, вы не поступаете таким же образом? Если так, я был бы избран вами, а другие отвергнуты».

Дама, устыдившись немного, подобно другим, сказала: «Маэстро, вы очень хорошо и мило проучили нас за наше надменное намерение; во всяком случае, ваша любовь дорога мне, как должна быть дорога любовь столь мудрого и достойного человека; потому свободно располагайте мною, как своею ответственностью, лишь бы соблюдена была моя честь».

Поднявшись вместе со своими спутниками, маэстро весело и смеясь простился с дамой и ушел. Так, не разобрав, над кем подшучивает, она, рассчитывавшая на победу, сама оказалась побежденной; от этого вы отлично уберезетесь, коли будете благоразумны.

* * *

Уже солнце склонялось к вечеру и жар значительно спал, когда рассказы юных дам и трех юношей пришли к концу. Поэтому королева сказала шутливо:

— Теперь, дорогие подруги, мне ничего не остается сделать в этот день моего правления, как только дать вам новую королеву, и пусть она по своему усмотрению устроит на следующий день свою и нашу жизнь в целях пристойного развлечения. Казалось бы, что дню еще далеко до ночи, но так как тот, кто не распорядится заблаговременно, не может устроить хорошее будущее, и затем, дабы можно было приготовить все, что новая королева найдет нужным на завтра, я решаю, чтобы следующие дни начались с этого часа. Поэтому во имя Того, кем все живет, и в наше утешение пусть нашим царством руководит на следующий день юная и разумная Филомена.

Так сказав и поднявшись, она сняла с себя лавровый венок и, почтительно возложив его на Филомену, первая преклонилась перед нею, как перед королевой, за нею все другие,

равно как и юноши, предоставляя себя ее власти. Филомена, несколько покрасневшая от стыдливости, когда увидела себя венчанной на царство, вспомнила недавние речи Пампинеи и, чтобы не показаться простушкой, ободрившись, во-первых, утвердила в должностях всех назначенных Пампинеей, распорядилась тем, что следовало приготовить на следующее утро и к будущему ужину, на том же месте, где они пребывали, а затем начала держать такую речь:

— Дорогие подруги, хотя Пампинея, более по своей любезности, чем за мое достоинство, назначила меня вашей королевой, я тем не менее не расположена в устройении нашего образа жизни следовать только моему мнению, но вместе с моим — и вашему; а для того, чтобы вы знали, что, по-моему, следует сделать, и могли бы впоследствии по вашему усмотрению прибавить что-либо или умалить, я намерена разъяснить вам это в нескольких словах. Если я хорошо пригляделась сегодня к распоряжениям Пампинеи, они показались мне в одно и то же время достойными похвалы и ведшими к удовольствию; поэтому, пока они, вследствие частого повторения или по другой причине, не прискучат, я не считаю нужным отменять их. Итак, распорядившись тем, что мы уже начали приводить в исполнение, встанем и, весело погуляв, когда солнце пойдет на закат, поужинаем на холодке, а там, после нескольких песенок и других развлечений, хорошо будет и пойти спать. Завтра, поднявшись пока прохладно, также пойдем повеселиться куда-нибудь, чем кому по нраву, и, как сделали сегодня, вернемся в урочный час к обеду: попляшем и, встав от сна, как сегодня, вернемся сюда для рассказов, в которых, по моему мнению, и заключается наибольшее удовольствие, а в то же время и польза. Правда, я хочу начать нечто, чего Пампинея не могла сделать, будучи поздно избранной к правлению: хочу ограничить некоторым пределом то, о чем мы станем рассказывать, и объявлять вам о том наперед, дабы у каждого было время придумать какую-нибудь хорошенькую новеллу на данный сюжет. Если вам это приглянется, то он будет таков: так как с начала мира люди бывали увлекаемы разными случайностями судьбы и будут увлекаемы до конца, то пусть каждый расскажет о тех, кто после разных превратностей и сверх всякого ожидания достиг благополучной цели».

Женщины и мужчины равно одобрили такой порядок и сказали, что будут ему следовать. Один лишь Дионео заявил, когда все остальные уже умолкли:

— Мадонна, как все другие сказали, так скажу и я, что порядок, вами указанный, чрезвычайно хорош и достоин похвалы; но от вашей особой милости я прошу дара, который пусть будет утвержден за мной, пока будет состоять это общество; и дар этот следующий: чтобы это постановление не обязывало меня рассказывать новеллу на данный сюжет, если я того не захочу, и я мог бы рассказать, какую мне заблагорассудится. А дабы никто не подумал, что я прошу этой милости, как человек, у которого рассказов нет в запасе, я готов быть всегда последним из рассказывающих.

Королева, зная его как забавного и веселого человека и отлично понимая, что он просит того единственно с целью развеселить общество, если б оно устало от рассуждений, какой-нибудь смехотворной новеллой, весело и при общем согласии даровала ему эту милость. Поднявшись, все тихими шагами направились к потоку, светлые воды которого спускались с пригорка в долину, тенистую от множества деревьев, среди диких камней и зеленой травы. Здесь, разувшись и оголив руки и бродя в волнах, дамы затеяли разные забавы. Когда приблизился час ужина, вернулись в палаццо, где поужинали с удовольствием. После ужина, когда принесли музыкальные инструменты, королева приказала завести танец и чтобы вела его Лауретта, а Эмилия спела канцону, сопровождаемая на лютне Дионео. Согласно этому приказу, Лауретта тотчас же начала и повела танец, а Эмилия любовно запела следующую канцону:

Я от красы моей в таком очарованье,
Что мне другой любви не нужно никогда
И вряд ли явится найти ее желанье.

Когда смотрюсь в себя, я в прелестях моих
То благо нахожу, что дух наш услаждает,
И новый случай ли, мысль старая ль — но их,
Утех столь сладостных, ничто не прогоняет.
И в мире, знаю я, мой взор не повстречает
Такого чудного предмета никогда,
Чтоб в душу новое мне влил очарованье.

В какой бы час себя ни пожелала я
Утешить благом тем, оно навстречу зова
Спешит немедленно. И тут душа моя
Вся наслаждения исполнена такого,
Что выразить его ничье не может слово,
И не поймет его тот смертный никогда,
Кто сам не испытал того очарованья.
А я, которая сгораю тем сильней,
Чем более на нем свои покою взгляды,
Вкушая уж теперь высокие улады,
Что мне сулит оно, и в будущем отрады
Еще я большей жду, с какою никогда
Сравниться не могло б ничье очарованье.

Когда кончилась плясовая песня, которой все весело подпевали, хотя кое-кого она заставила и задуматься над ее словами, проплясали еще несколько мелких танцев. Уже прошла часть короткой ночи, и королеве угодно было положить конец первому дню; велев зажечь факелы, она приказала всем пойти отдохнуть до следующего утра, что все и сделали, вернувшись каждый в свой покой.



ДЕНЬ ВТОРОЙ

Кончен первый день Декамерона, начинается второй, в который, под руководством Филомены, рассуждают о тех, кто после равных превратностей и сверх всякого ожидания достиг благополучной цели

Уже солнце повсюду разлило своим светом новый день и птицы, распевая веселые песни на зеленых ветках, свидетельствовали о том во всеуслышание, когда дамы и трое юношей встали и пошли в сад, где, тихо ступая по росистой траве и плетя красивые венки из цветов, долгое время гуляли из одной стороны в другую. И как в прошедший день, так поступили и теперь: закусив, пока еще было прохладно, и занявшись пляской, они пошли отдохнуть; затем, встав в девятом часу, отправились, по усмотрению королевы, на свежий лужок и расселись вокруг нее. Она, красивая и привлекательная, с лавровым венком на голове, постояв в раздумье и окинув взором все общество, приказала Нейфиле положить начало будущим рассказам. Та, без всяких оговорок, весело начала так рассказывать.

НОВЕЛЛА ПЕРВАЯ

Мартеллино, притворясь калекой, делает вид, что излечен мощами святого Арриго; когда его обман обнаружен, его бьют и хватают, и он в опасности быть повешенным, но в конце спасается

— Часто случалось, дорогие дамы, что тот, кто пытался издеваться над другими, особенно над предметами, достойными уважения, оставался при своих шутках, иногда и к своему вреду. Вот почему, повинувшись велению королевы и дабы начать моей новеллой рассказы на поставленный ею вопрос, я намерена передать вам то, что приключилось с одним нашим

согражданином, вначале несчастное, а потом, вне всякого его ожидания, и очень счастливое.

Не так давно жил в Тревизо немец, по имени Арриго, который, будучи бедняком, носил тяжести по найму всем, кому требовалось; при всем том он считался человеком честным и святой жизни. По этой причине (правда ли, нет ли) случилось, что, когда он умер, в самый час его кончины, как утверждают тревизцы, все колокола главной церкви Тревизо, без чьего-либо прикосновения, принялись трезвонить. Приняв это за чудо, все стали говорить, что Арриго — святой, и когда народ со всего города сбегался к дому, где лежало его тело, понесли его, точно святые мощи, в главную церковь, куда стали приводить хромых, увечных, слепых и всех, пораженных какою-нибудь болезнью и недостатком, как будто всем надлежало исцелиться от одного прикосновения к этому телу.

Случилось, что во время этой суматохи и народного движения в Тревизо прибыло трое наших сограждан, из которых одного звали Стекки, второго Мартеллино, третьего Маркезе: люди, посещавшие дворы синьоров и потешавшие зрителей своими гримасами и необычным умением передразнивать всякого. Они, дотоле не бывавшие там никогда, удивились, увидя всех в суматохе, и, услышав тому причину, сами пожелали пойти и посмотреть. Оставили свои вещи в гостинице, а Маркезе и говорит: «Пойдем-ка поглядим на этого святого, только мне невдомек, как мы туда доберемся, ибо я слышал, что площадь полна немцев и другого вооруженного люда, которых туда поставил синьор этого города, чтобы не было беспорядков. Кроме того, и церковь, говорят, так набита народом, что никому больше не войти». Тогда Мартеллино, желавший на все это посмотреть, сказал: «За этим дело не станет, я уж найду средство добраться до святого тела». — «Каким образом?» — спросил Маркезе. Мартеллино отвечал: «Я расскажу тебе как: я прикинусь калекой, а ты с одной стороны, Стекки — с другой — пойдете, поддерживая меня, как будто я сам по себе не в состоянии идти, и представитесь, что хотите вести меня туда, дабы тот святой исцелил меня; не будет никого, кто бы, увидев нас, не уступил нам места и не дал пройти». Маркезе и Стекки одобрили этот способ; не мешкая долго, они вышли из гостиницы и отправились втроем в уединенное место, где Мартеллино так скривил себе кисти и пальцы, руки и ноги, а к тому же и рот,

глаза и все лицо, что казался страшилищем, и не было никого, кто бы, увидев его, не признал в нем человека, в самом деле искалеченного и разбитого.

Взявши его так изуродованного, Маркезе и Стекки направились к церкви, приняв благочестивый вид, смиренно и Бога ради прося каждого встречного дать им дорогу, чего добивались легко; в скором времени, обращая на себя внимание всех и при общих криках: «Посторонись, посторонись!», они добрались до места, где положено было тело святого Арриго. Несколько дворян, стоявших вокруг, быстро схватили Мартеллино и положили его на мощи, дабы таким образом он удостоился благодати здравия. В то время как все внимательно смотрели, что станет с Мартеллино, он, немного погодя, принялся (а умел он это делать превосходно) показывать, будто разжимает один палец, потом кисть руки, потом всю руку и таким образом выпрямился весь. Увидев это, народ так завопил во хвалу святого Арриго, что и грома не было бы слышно.

Стоял там случайно поблизости один флорентиец, очень хорошо знавший Мартеллино, но не признавший его, когда его привели так изуродованного; теперь, увидев его выпрямленного и признав его, он вдруг захохотал и сказал: «Убей его Бог! Кто бы поверил, увидев, каким он пришел, что он в самом деле не калека?» Услышали эти слова некоторые тревизцы и тотчас же спросили: «Как так? Разве он не был калекой?» На это флорентиец отвечал: «Да нет же, ей-богу, он всегда был таким же прямым, как всякий из нас, только, как вы могли убедиться сами, он лучше всякого другого владеет умением принимать такой вид, какой ему вздумается». Как только они услышали это, большего не ждали, бросились напором вперед и принялись кричать: «Взять этого предателя, что глумится над Богом и святыми и, не будучи параличным, явился сюда в образе расслабленного, чтобы насмеяться над нашим святым и над нами». Так говоря, они взяли его и стащили с места, где он был; схватив его за волосы и сорвав с него одежду, они принялись бить его кулаками и ногами; тот не счел бы себя мужчиной, кто бы не поспешил к нему за тем же делом. Мартеллино кричал: «Смилуйтесь, ради Бога!» — и, насколько мог, отбивался; но это не помогало: толпа становилась вокруг него все больше и больше. Увидев это, Стекки и Маркезе стали говорить про себя, что дело плохо, но, боясь за самих себя, не

решались помочь ему; напротив, вместе с другими кричали, что его следует убить, а тем не менее держали на уме, как бы извлечь его из рук народа, который наверно бы умертвил его, если бы не уловка, к которой внезапно прибегнул Маркезе. Отправившись, как только мог поспешнее, к стоявшей там страже синьории и обратившись к тому, кто был на месте подесты, он сказал: «Помогите, ради Бога! Какой-то мошенник отрезал у меня кошелек с сотней золотых флоринов; велите схватить его, пожалуйста, чтобы мне вернуть мое». Услышав это, двенадцать служилых людей тотчас же побежали туда, где бедного Мартеллино чесали без гребня, и, пробившись сквозь толпу с величайшими в мире усилиями, вырвали его из рук толпы, всего изломанного и истоптанного, и повели в ратушу. Сюда последовали за ним многие, считавшие себя осмеянными им, и, услышав, что он схвачен как воришка, также принялись показывать, что он и у них отрезал кошелек, так как они не находили другого, более подходящего предлога, чтобы насолить ему. Выслушав это, судья подесты, человек суровый, немедленно отвел Мартеллино в сторону, принялся его о том допрашивать, но Мартеллино отвечал шутками, как будто ни во что не ставил этот арест. Рассерженный этим, судья велел привязать его к дыбе и дать несколько хороших ударов, чтобы заставить его признаться в том, в чем те его обвиняли, а затем повесить. Когда Мартеллино снова спустили на землю и судья спросил его, правда ли то, что показывают на него те люди, Мартеллино, видя, что отнекивание ни к чему не приведет, сказал: «Господин мой, я готов открыть вам правду, но пусть каждый из обвиняющих объявит, когда и где я отрезал у него кошелек, а я вам скажу, что я сделал и что нет». — «Хорошо», — отвечал судья и велел позвать нескольких; из них один говорил, что Мартеллино отрезал у него кошелек неделю тому назад, другой, что за шесть дней, третий за четыре, а иные показали, что в тот же самый день. Услышав это, Мартеллино сказал: «Господин мой, все они нагло лгут, а что я говорю правду, тому я могу привести доказательство; пусть бы мне никогда не бывать в этом городе, если я когда-либо вступал в него прежде, чем теперь, до сегодняшнего дня. И как только я прибыл, пошел посмотреть на святое тело; тут меня и отделали, как видите. Что это истина, это вам могут подтвердить чиновник синьории, к которому являются приезжие, его книга и, наконец, мой хозяин. Потому,

если все окажется так, как я вам сказал, то соблаговолите не мучить и не изводить меня по просьбе этих негодяев».

Пока дело так обстояло, Маркезе и Стекки, услышав, что судья строго взялся за следствие и уже привязал Мартеллино к дыбе, перепугались сильно и сказали: «Плохое дело мы учинили: со сковороды его стащили, а в огонь бросили!» Поэтому, принявшись усердно искать повсюду своего хозяина и найдя его, они объяснили ему все дело. Тот, рассмеявшись, повел их к Сандро Аголанти, жившему в Тревизо и бывшему в большой чести у синьора; рассказав ему все по порядку, он вместе с ними попросил его заняться делом Мартеллино. Сандро, вдоволь нахохотавшись, отправился к синьору и попросил послать за Мартеллино, что и было сделано. Те, что отправились за ним, нашли его в одной сорочке перед судьей, совсем растерянного и сильно испуганного, потому что судья не хотел слышать никакого его извинения, напротив, питая некоторую нелюбовь к флорентийцам, был расположен повесить его и никоим образом не желал отдать его синьору, пока не принужден был сделать это против воли. Когда Мартеллино предстал перед синьором, он все рассказал ему по порядку и попросил его, вместо всякой другой милости, отпустить его, потому что, пока он не будет во Флоренции, ему все будет чудиться петля на шее. Синьор много смеялся над этим приключением, подарил им по платью на человека, и все втроем, избежав, против ожидания, столь великой опасности, вернулись подобру-поздорову восвояси.

НОВЕЛЛА ВТОРАЯ

Ринальдо д'Асти, будучи ограблен, является в Капель Гвильельмо, где находит приют у одной вдовы и, вознагражденный за свои потери, возвращается домой здоров и невредим

Дамы без удержу смеялись над приключениями Мартеллино, о которых рассказала Нейфила, а из юношей особенно смеялся Филострато, которому, как раз сидевшему рядом с Нейфилой, королева и приказала продолжать рассказывать. Нимало не медля, он начал так:

— Прекрасные дамы, мне напрашивается на рассказ новелла о вещах святых, смешанных отчасти с бедственными и любовными, — новелла, которую, быть может, будет небесполезно выслушать, особенно тем, которые странствуют по небезопасным юдолям любви, где часто случается, что кто не прочел молитвы св. Юлиану, находит плохой приют и при удобной постели.

Итак, во времена маркиза Аццо Феррарского один купец, по имени Ринальдо д'Асти, прибыл по своим делам в Болонью. Случилось, что когда, устроив их и на пути домой, он выехал из Феррары, направляясь в Верону, он встретился с какими-то людьми, которые походили на купцов, а были разбойники и негодяи; он неосмотрительно вступил с ними в разговор и присоседился к ним. Те, увидев, что он купец, и полагая, что при нем деньги, решились его ограбить, лишь только представится время, а дабы у него не явилось подозрение, они, точно скромные и порядочные люди, беседовали с ним о вещах приличных и честных, показывая себя по отношению к нему, насколько могли и умели, обходительными и покорными, так что он счел большой удачей, что встретил их, потому что был один со своим верховым слугой.

Так путешествуя, переходя, как часто бывает в разговорах, от одного к другому, они напали на вопрос о молитвах, с которыми люди обращаются к Богу; один из разбойников, — а их было трое, — и говорит Ринальдо: «А ты, почтенный человек, какую молитву привык творить в пути?» Ринальдо отвечал: «По правде, в такого рода делах я простоват и груб, мало знаю молитв, живу по старине и считаю два сольдо за двадцать четыре динара, тем не менее у меня было всегда обыкновение читать во время путешествия по утрам, выезжая из гостиницы, «Отче наш» и «Богородицу» за упокой отца и матери св. Юлиана, а затем уже молить Бога и святого, чтобы на следующую ночь они доставили мне хороший ночлег. Часто в моей жизни бывал я, путешествуя, в больших опасностях, избежав которые, я все же попадал на ночь в хорошее место и на добрый ночлег; потому я твердо убежден, что св. Юлиан, в честь которого я творю эти молитвы, выпросил мне эту милость у Бога; и мне кажется, что и путь будет неудачен, и на ночь я неудачно пристану, если эту молитву не прочту утром». — «А сегодня утром читал ты ее?» — спросил его тот, кто обратился

к нему. Ринальдо отвечал: «Разумеется». Тогда тот, уже знавший, как может повернуться дело, сказал про себя: «Тебе она еще понадобится, потому что, если только у нас не будет неудачи, ты, сдаешь мне, попадешь на дурной ночлег». После того он сказал ему: «Я также много странствовал и никогда не читал той молитвы, хотя многие, слышал я, очень одобряли ее, и никогда еще не случилось, чтобы я, несмотря на то, попадал на дурной ночлег, а сегодня вечером ты, может быть, сам убедишься, кто из нас лучше приютится: ты ли, прочтя молитву, или я, не помолившись. Правда, я употребляю вместо нее другие: «Dirupisti», или «Intemerata», либо «De profundis», молитвы, оказывающие большую помощь, как говаривала моя бабушка». Когда, беседуя таким образом о разных вещах, они продолжали путь, а те выжидали время и место для исполнения своего злого умысла, случилось, уже поздно, что по ту сторону Кагель Гвильельмо, при переправе через одну реку, те трое, рассчитав, что час не ранний и место уединенное и закрытое, напали на него, ограбили и, оставив его пешком и в одной сорочке, удаляясь, сказали: «Ступай и погляди, доставит ли тебе твой св. Юлиан хороший приют в эту ночь, а наш доставит его нам наверно». Переправившись за реку, они удалились. Слуга Ринальдо, увидев, что на него напали, будучи трусом, ничего не сделал, чтобы помочь ему, а повернув своего коня, погнал его, пока не прибыл в Кагель Гвильельмо, куда приехал вечером, и заночевал, не заботясь об остальном. Ринальдо, оставшись в одной рубашке и босым, при сильном холоде и не прекращавшемся снеге, не знал, что ему делать; заметя, что уже наступила ночь, он, дрожа и стуча зубами, начал озираться, не увидит ли какого-нибудь пристанища, где бы он мог провести ночь, не умерев от стужи. Не видя ничего (ибо во время войны, незадолго перед тем бывшей в том крае, все было выжжено), побуждаемый холодом, он бегом направился в Кагель Гвильельмо, не зная, однако ж, туда или в другое место убежал его слуга, и полагая, что, если он туда доберется, Господь пошлет ему какую-нибудь помощь. Но темная ночь застигла его почти в одной миле от замка, потому он прибыл туда так поздно, что ворота уже были заперты, мосты подняты, и ему нельзя было войти. Печальный и неутешный, он со слезами озирался, где бы приютиться, чтобы на него по крайней мере не падал снег;

случайно он увидел дом, несколько выступавший вперед за стену местечка, и решил пойти под этот уступ и пробыть там до рассвета. Отправившись туда, он нашел под выступом дверь, хотя и запертую, внизу которой, унылый и грустный, он и расположился на соломе, подобранной по соседству, беспрестанно сетуя на св. Юлиана и говоря, что не того он заслужил своей в него верой. Но св. Юлиан имел о нем попечение и, недолго медля, приготовил ему хороший приют.

Жила в том замке вдова, красавица собою, каких немного, которую маркиз Аццо любил пуще жизни и держал здесь для своей надобности; жила упомянутая дама в том самом доме, под выступ которого пошел укрыться Ринальдо. Случилось, что за день перед тем приехал маркиз, чтобы провести ночь с вдовою, тайно распорядился приготовить себе в ее доме ванну и хороший ужин, но когда все было готово и вдова ожидала лишь прихода маркиза, явился к воротам замка слугитель и принес маркизу известия, вследствие которых ему пришлось внезапно уехать. Поэтому, послав сказать даме, чтобы она не ждала его, он тотчас же отправился в путь; она, немного расстроенная, не зная, что делать, решила сама принять ванну, приготовленную для маркиза, а затем поужинать и лечь спать. Так она и села в ванну; а ванна была по соседству с дверью, у которой приютился с внешней стороны местечка бедный Ринальдо; потому, сидя в ванне, дама слышала, как он плакал и шелкал зубами, точно цапля; позвав свою прислужницу, она сказала ей: «Пойди наверх и посмотри, кто там за стеною у порога двери, кто он такой и что делает». Прислужница отправилась и, так как воздух был прозрачен, увидела Ринальдо, сидевшего, как сказано, в одной рубашке и без обуви и сильно дрожавшего. Она спросила его, кто он такой. Ринальдо, едва связывая слова от сильной дрожи, сказал ей, насколько мог кратко, кто он и как и почему он здесь, а затем принялся жалобно просить ее, чтобы она, по возможности, не дала ему умереть здесь ночью от холода. Растроганная этим, служанка вернулась к своей госпоже и все ей рассказала. Та, одинаково ощутив к нему жалость, вспомнила, что у нее есть ключ от двери, иногда служившей для тайных посещений маркиза, и сказала: «Пойди и потихоньку отопри ему; вот и ужин, которого и есть некому, а приютить его места довольно». Много похвалив госпожу за такое человеколюбие, служанка пошла, отворила

Ринальдо, и, когда впустила его, дама, увидев его почти околоченным, сказала: «Полезай-ка, друг, в эту ванну, она еще не остыла». Не ожидая дальнейших приглашений, он охотно это сделал, и когда тепло подкрепило его, ему показалось, будто он снова от смерти вернулся к жизни. Дама велела приготовить ему платье своего мужа, незадолго перед тем умершего, и когда он надел его, оно оказалось будто сшитым по нем; в ожидании распоряжений хозяйки он принялся благодарить Бога и св. Юлиана, избавивших его от недоброй ночи, которую он себе чаял, и приведших его к хорошему, как ему мнилось, пристанищу.

Когда хозяйка немного отдохнула, приказала развести большой огонь в одной горнице и, пройдя туда, спросила, как тому человеку можется. Служанка на это ответила: «Мадонна, он оделся, красивый мужчина и, кажется, хороший, благовоспитанный человек». — «Пойди-ка позови его, — говорит хозяйка, — скажи, чтобы пришел сюда погреться у огня, он и поужинает, ибо я знаю, что он не ужинал». Войдя в горницу и увидав даму, которая показалась ему из знатных, он почтительно приветствовал ее, воздав ей какую мог больше благодарность за оказанное ему благодеяние. Увидев и выслушав его и убедившись, что он действительно таков, как говорила ей служанка, дама весело приняла его, запросто посадила с собою у огня и расспросила о приключении, приведшем его сюда. Ринальдо рассказал ей все по порядку; дама уже слышала кое-что о том, когда слуга Ринальдо прибыл в замок, и потому, вполне поверив всему, что он ей рассказал, сообщила ему, что знала о его слуге и что на следующее утро ему легко будет разыскать его. Когда накрыли на стол, Ринальдо, по желанию хозяйки, совершив омовение рук, сел с нею вместе за ужин. Он был высокого роста, с красивым, приятным лицом и хорошими, изящными манерами, средней молодости; хозяйка, несколько раз окинув его глазами, очень его одобрила, и он запал ей на ум, так как ожидание маркиза на ночлег разбудило в ней похотливое чувство. После ужина, когда они встали из-за стола, она посоветовалась со своей служанкой: одобрит ли она ее, если, будучи обманутой маркизом, она воспользуется добром, которое судьба послала ей навстречу. Поняв желание своей госпожи, служанка, как могла и умела, убедила ее последовать ему; поэтому, вернувшись к камину, где она оставила Риналь-

до, хозяйка стала смотреть на него любовно и сказала: «О чем вы так задумались, Ринальдо? Не о том ли, что вам не вернуть коня и кое-какого потерянного платья? Утешьтесь, будьте веселы: вы здесь как дома; скажу вам более: когда я увидела вас в этой одежде, одежде моего покойного мужа, и мне показалось, что это — он, у меня сто раз являлось этим вечером желание обнять и поцеловать вас; и если бы не боязнь, что это вам не понравится, я наверно так бы и сделала». Услышав такие речи и видя блеск в глазах хозяйки, Ринальдо, как не дурак, подойдя к ней с распростертыми объятиями, сказал: «Мадонна, как подумаю я, что лишь благодаря вам я буду и впредь считать себя в числе живых, и представляю себе, от чего вы меня избавили, было бы недостойным с моей стороны, если б я не постарался сделать все, что вам по вкусу; потому удовлетворите вашему желанию обнять и поцеловать меня, а я обниму и поцелую вас более чем охотно». Нужды в словах более не представилось. Хозяйка, вся горевшая любовным желанием, тотчас же бросилась в его объятия; когда, страстно прижавшись к нему, она тысячу раз поцеловала и столько же получила поцелуев, выйдя оттуда, они вместе отправились в покой, тотчас же легли и, прежде чем наступил день, много раз утолили свою страсть.

Когда же начала заниматься заря, они, по желанию хозяйки, поднялись, а дабы про это дело кто-нибудь не проведал, она дала Ринальдо кое-какое дрянное платье, набила деньгами его кошелек и, попросив его держать все в тайне и показав наперед, каким путем ему можно пойти, чтобы разыскать своего слугу, выпустила его через ту же калитку, в которую он вошел. Когда рассвело, он, будто придя издалека, вступил в замок, ворота которого были отворены, и нашел своего слугу; когда он переделся в свое платье, бывшее в чемодане, и уже готовился сесть на коня слуги, случилось каким-то чудом, что три разбойника, ограбившие его накануне вечером и схваченные вскоре после того за другое содеянное ими преступление, были приведены в замок; по их сознанию ему вернули его коня, платье и деньги, так что он ничего не потерял, кроме пары подвязок, о которых грабители не знали, куда их девали. Поэтому, возблагодарив Бога и св. Юлиана, Ринальдо сел на коня и по добру-поздорову вернулся восвояси; а три разбойника отправились на другой день давать пинка ветру.

НОВЕЛЛА ТРЕТЬЯ

*Трое юношей, безрассудно растратив свое состояние,
обеднели; их племянник, возвращаясь домой
в отчаянии, знакомится на пути с аббатом
и открывает в нем дочь английского короля,
которая выходит за него замуж, а он, возместив
дядьям все их убытки, возвращает их
в прежнее положение*

Приключения Ринальдо д'Асти выслушаны были дамами с удивлением, похвалена его набожность и возданы хвалы Господу и св. Юлиану, которые помогли ему в его крайней беде. И хотя о том и говорили наполовину втихомолку, не сочли несмышленной и женщину, которая сумела воспользоваться добром, посланным ей в дом Богом. Пока, усмехаясь, они рассуждали о прекрасной ночи, ею проведенной, Пампинея, сидевшая рядом с Филострато, догадавшись (как то и оказалось), что очередь дошла до нее, и сосредоточившись, принялась размышлять о том, что ей рассказать, и по приказу королевы весело и смело начала так:

— Достойные дамы, чем более говорят о случайностях фортуны, тем более остается рассказать о них, если внимательно присмотреться к ее ходу. И этому никто не должен удивляться, если разумно сообразит, что все, что мы по безрассудству зовем своим, находится в ее руках и что, стало быть, она по своему тайному решению непрерывно передает все из одних рук в другие и из тех в эти, в порядке, нам неизвестном. Хотя это очевидно и на всем оправдывается каждый день и уже доказано было в некоторых из предыдущих новелл, тем не менее, так как королеве заблагорассудилось, чтобы о том рассуждали, я присоединю к рассказанным, может быть, не без некоторой пользы для слушателей, и свою новеллу, которая, полагаю, вам понравится.

Был когда-то в нашем городе именитый человек, по имени Тедалдо, из рода, как полагают некоторые, Ламберти; другие утверждают, что он был из рода Аголанти, основываясь, быть может, скорее на ремесле, которым занимались впоследствии его сыновья, чем на чем ином, и соображаясь с тем, чем Аголанти всегда занимались и еще занимаются. Но, оставив вопрос о том, к какому из двух родов он принадлежал, скажу,

что в свое время Тедалдо был богатейшим человеком и что у него были три сына: первый по имени Ламберто, второй — Тедалдо, третий — Аголанте, красивые и стройные юноши, хотя старший не достиг восемнадцатилетнего возраста, когда скончался богатейший мессер Тедалдо, оставив им, как своим законным наследникам, все свое движимое и недвижимое имущество. Оказавшись богатыми людьми, с деньгами и поместьями, они принялись необузданно и без удержу мотать, руководясь исключительно своими желаниями: держали множество слуг, много дорогих коней, собак и птиц, жили открыто, тратясь на подарки и турниры, делая не только все то, что пристало благородным людям, но и что им, как юношам, могло взбрести на ум. Недолго вели они такую жизнь, как казна, оставленная им отцом, стала убывать, и, так как на их обычные траты не хватало одних доходов, они принялись продавать и закладывать свои имения; продавая сегодня одно, завтра другое, они и не заметили, как остались почти ни при чем и нищета открыла им глаза, которые богатство держало замкнутыми. Поэтому, позвав однажды обоих братьев, Ламберто сказал им, каково было почетное положение их отца и каково их собственное, каково его богатство и бедность, до которой они дошли, беспутно мотая. И он убедил их, как только мог лучше, прежде чем объявится их нищета, продать то небольшое, что у них осталось, и вместе уехать. Так они и сделали и, ни с кем не простившись, без огласки оставив Флоренцию, не останавливаясь нигде, отправились в Англию. Здесь наняли в Лондоне небольшой домик, ограничив свои расходы, и рьяно принялись за ростовщичество; и так благоприятствовала им судьба, что в течение немногих лет они накопили большую сумму денег. Поэтому, вернувшись с ними во Флоренцию, один за другим, они выкупили большую часть своих поместий; кроме того, купили и другие, женились и, продолжая свое прежнее занятие в Англии, послали туда заведовать своим делом племянника, по имени Алессандро, а сами, забыв, до чего довели их прежде беспорядочные траты, и несмотря на то, что обзавелись семьями, стали мотать пуще прежнего, пользуясь у всех купцов полным кредитом на любую значительную сумму денег. Покрывать эти траты помогали им в течение нескольких лет деньги, доставлявшиеся Алессандро, который принялся

отдавать деньги в рост баронам под залог их замков и других доходов, что приносило ему большую выгоду.

Пока три брата жили так широко, а при недостатке денег занимали их, возлагая твердую надежду на Англию, случилось, против общего ожидания, что в Англии возникла война между королем и его сыном, почему весь остров разделился на партии, кто стоял за одного, кто за другого, вследствие чего все замки баронов были отобраны у Алессандро и не стало других доходов, которые могли бы его обеспечить. Надеясь со дня на день, что между сыном и отцом произойдет перемирие и что ему вернут все — и капитал и рост, Алессандро не покидал острова, а братья жили во Флоренции, ничем не ограничивая своих громадных трат, занимая с каждым днем более. Но так как в течение нескольких лет надежды не оправдывались событиями, три брата не только потеряли кредит, но и были внезапно схвачены, так как заимодавцы желали быть удовлетворены; имения их были недостаточны для уплаты, за недочет они сами остались в тюрьме, а их жены и малые дети отправились в деревню, кто сюда, кто туда, обнищавшие, не зная, чего иного им и ожидать, кроме вечной нищеты.

Алессандро, много лет поджидавший в Англии мира, видя, что он не настает, и рассчитав, что оставаться ему столь же опасно для жизни, как и напрасно, решился вернуться в Италию и в одиночку отправился в путь. При выезде из Брюгге он случайно увидел бенедиктинского аббата, также выезжавшего оттуда в сопровождении многих монахов, со многими служителями и большим обозом впереди. За аббатом следовали два старых рыцаря, родственники короля, к которым Алессандро присоседился, как к знакомым, и они охотно взяли его с собою. Едучи с ними, он вежливо спросил их, что за монахи едут впереди со столькими слугами и куда они направляются. На это один из рыцарей отвечал: «Тот, что едет впереди, наш юный родственник, недавно избранный в аббаты одного из наибольших аббатств Англии; а так как он моложе, чем, по законам, допустимо для такого чина, мы едем с ним в Рим просить святого отца, дабы он отменил для него препятствие слишком юного возраста и затем утвердил в звании. Но об этом не следует говорить другим». Когда на пути новопоставленный аббат ехал то впереди, то позади своей свиты, как то делают путешествующие синьоры, что мы видим ежедневно, случи-

лось ему приметить возле себя Алессандро, очень юного, статного, с очень красивым лицом, при этом со столь приятными манерами и обхождением, как только можно себе представить кого-либо. С первого взгляда он так удивительно понравился аббату, как никто другой; подозвав его, он любезно вступил с ним в беседу, расспрашивая, кто он, откуда едет и куда. Алессандро, откровенно объяснив ему свое положение, удовлетворил его любопытству и предоставил себя, по мере своих слабых сил, к его услугам. Услышав его прекрасные, умные речи, приглядевшись к его манерам и соображая, что он, несмотря на свое низкое ремесло, человек благородный, аббат еще более воспылал к нему сочувствием: исполняясь сострадания к его бедствиям, он дружески утешал его, говоря, что ему следует питать надежду, потому что, как человека достойного, Господь возведет его снова, откуда низвергла судьба, и еще выше; и он попросил его, отправлявшегося в Тоскану, быть столь любезным остаться в его обществе, так как и он ехал туда же. Алессандро поблагодарил его за его слова утешения и сказал, что готов исполнить все его приказание.

Между тем как аббат продолжал путь, а лицемерие Алессандро возбуждало в его сердце новые чувства, случилось им через несколько дней приехать в одно селенье, не особенно богатое гостиницами. Когда аббат заявил желание пристать здесь, Алессандро устроил его в доме одного хозяина, своего хорошего знакомого, распорядившись приготовить ему комнату, где в доме было поудобнее; став почти что сенешалем аббата, он, как человек здесь знакомый, разместил всю его челядь по деревне, кого здесь, кого там, как было возможно; и когда аббат поужинал и с наступлением поздней ночи все пошли спать, Алессандро спросил хозяина, где ему лечь. Хозяин отвечал: «Право, не знаю; ты видишь, все полно, и я с моими спим на досках; правда, в комнате аббата есть несколько ларей, я могу повести тебя туда, постлать тебе какую-нибудь постель; там, коли хочешь и как можешь, проведи эту ночь». На это Алессандро сказал: «Как мне дойти в комнату аббата? Ты знаешь, она тесна и по тесноте никто из его монахов не мог в ней лечь. Если б я о том догадался, когда устраивались на ночь, я бы положил монахов на ларях, а сам отправился бы, где теперь они спят». На это хозяин сказал: «Дело сделано; коли желаешь, ты можешь устроиться там наилучшим образом в свете: аббат

почивает, полог спущен, я потихоньку положу тебе там пуховик, спи себе». Увидев, что все это можно сделать, ничуть не потревожив аббата, Алессандро согласился и устроился там по возможности тихо.

Аббат, не спавший, напротив, страстно отдавшийся мыслью своим новым желаниям, слышал, о чем хозяин говорил с Алессандро, а также и про то, где Алессандро прилег; крайне довольный, он начал так говорить про себя: «Господь послал благовремение моим желаниям; если я не воспользуюсь им, такого случая, быть может, долго не представится». Твердо решившись воспользоваться им, когда ему показалось, что все в гостинице успокоилось, он тихим голосом позвал Алессандро, предлагая ему лечь с собою. Тот, после долгих отговорок, разделся и лег. Аббат, положив ему руку на грудь, принялся щупать его, совсем так, как влюбленные девушки делают со своими милыми, чему Алессандро сильно удивился, подозревая, что аббата побуждает к такого рода щупанью, быть может, нечестная страсть. Эти подозрения тотчас же распознал аббат, сам ли догадавшись или по какому-нибудь движению Алессандро; улыбнулся и, быстро сняв рубашку, которая была на нем, схватив руку Алессандро, возложил себе на грудь, со словами: «Брось свои глупые мысли, Алессандро, и, пощупав здесь, познай, что я скрываю». Положив руку на грудь аббата, Алессандро открыл две груди круглые, твердые и нежные, точно сделанные из слоновой кости; обретя их и тотчас познав, что перед ним женщина, не дожидаясь иного приглашения, он тотчас обнял ее и хотел уже поцеловать, когда она сказала ему: «Прежде чем подступить ко мне ближе, выслушай, что я хочу сказать тебе. Как ты видишь, я — женщина, а не мужчина; выехав девушкой из дому, я направлялась к Папе, дабы он выдал меня замуж. На твое счастье или мое несчастье, как увидела я тебя в тот день, вспылала к тебе такой любовью, какой ни одна женщина не любила; потому я решила взять в мужья тебя скорее, чем кого-либо другого; коли ты не хочешь иметь меня женой, удались тотчас и пойдешь к себе». Алессандро, хотя и не знал, кто она, но имея в виду ее свиту, считал благородной и богатой, а что она красавица, это он видел; потому, недолго думая, отвечал, что если ей так угодно, то и ему очень по нраву. Тогда, сев на постели, перед иконой, на которой написан был лик Господа нашего, она, надев ему на палец кольцо, велела

обручиться с собою; затем, обнявшись, они, к великому удовольствию обеих сторон, наслаждались в продолжение остальной части ночи. Условившись относительно способа и порядка своих действий, Алессандро поднялся, вышел из комнаты тем же путем, каким вошел, так что никто и не узнал, где он провел ночь; безмерно веселый, он снова отправился в путь с аббатом и его свитой и через несколько дней прибыл в Рим.

Проведя здесь некоторое время, аббат с двумя рыцарями и Алессандро прямо явился к Папе; после достоподобных приветствий аббат начал так говорить: «Святой отец, вы лучше других должны знать, что всякий, желающий жить хорошо и честно, обязан по возможности избегать всякого повода, который мог бы побудить его поступать иначе; и вот я, желающая жить честно, дабы совершить это в полноте, тайно убежала в одежде, которую вы на мне видите, с большою частью сокровищ английского короля, моего отца (желавшего выдать меня за шотландского короля, древнего старика, — меня, как видите, молодую), и пустилась в путь, чтобы явиться сюда, а ваше святейшество выдало бы меня замуж. А бежать заставила меня не столько дряхлость шотландского короля, сколько боязнь, в случае если б я вышла за него, совершить по моей юношеской слабости что-либо противное Божеским законам и чести королевской крови моего отца. Когда я отправлялась сюда в такой решимости, думаю, что Господь, один в совершенстве знающий, что каждому нужно, по своему милосердию явил моим глазам того, кого ему угодно сделать моим мужем; то был вот этот юноша (и она указала на Алессандро), которого вы видите подле меня, нравы и доблесть которого достойны любой знатной дамы, хотя, быть может, благородство его крови не такое, как королевской. Его я избрала, его хочу иметь мужем, и никогда не будет у меня другого, как бы то ни показалось моему отцу или кому иному. Этим устранился главный повод к моему путешествию; но мне желательно было довершить его как для того, чтобы посетить святые и досточтимые места, которыми полон этот город, и ваше святейшество, так и для того, чтобы брачный союз, совершенный Алессандро и мною лишь перед Богом, открыть пред вашим лицом, а стало быть, и перед другими людьми. Потому я смиренно молю вас принять благосклонно, что приятно Богу и мне, и дать нам свое благословение, дабы с ним, как бы с большим ручательством угодить

тому, чьим вы являетесь наместником, мы могли, во славу Господа и вашу, вместе жить и под конец умереть».

Удивился Алессандро, услышав, что его жена — дочь английского короля, и втайне исполнился чудесной радостью; но еще более удивились оба рыцаря и так разгневались, что, будь они в другом месте, а не перед Папой, они учинили бы оскорбление Алессандро, а быть может, и даме. С другой стороны, изумился очень и Папа и нарядом дамы и ее выбором, но, понимая, что дела назад не вернуть, пожелал удовлетворить ее просьбу. Наперед успокоив рыцарей, которых видел рассерженными, и восстановив их хорошие отношения к даме и Алессандро, он распорядился тем, что надлежало сделать. Когда настал назначенный им день, в присутствии всех кардиналов и многих других именитых людей, явившихся по его приглашению на устроенное им большое торжество, он велел позвать даму, одетую по-царски и показавшуюся столь красивой и привлекательной, что все ее по праву хвалили; вместе с ней и Алессандро, также великолепно одетого, по виду и манерам — не того молодца, что занимался ростовщицеством, а скорее королевича, которому те два рыцаря оказывали большой почет. Тут Папа велел совершить наново и торжественно брачный обряд и после свадьбы, прекрасной и пышной, отпустил их со своим благословением.

По желанию Алессандро, а также и дамы, они, выехав из Рима, направились во Флоренцию, куда молва уже принесла весть о них; здесь граждане приняли их с большим почетом, а дама велела выпустить трех братьев, наперед распорядившись уплатить за них всем, а их самих и их жен восстановила в их имуществе. Одобряемый за это всеми, Алессандро с женой выехал из Флоренции, взяв с собою Аголанте; прибыв в Париж, они почетно были приняты королем. Затем оба рыцаря отправились в Англию и так повлияли на короля, что он вернул им свою милость и с большим торжеством принял дочь и своего зятя, которого вскоре после того с великой пышностью посвятил в рыцари, дав ему Корнуэльское графство. А он оказался столь доблестным и так умел действовать, что примирил сына с отцом, отчего острову последовало большое благо, а он приобрел любовь и расположение всего населения. Аголанте сполна вернули все, что были ему должны, и он возвратился во Флоренцию большим богачом, после того как Алессандро

поставил его рыцарем. Граф и его жена зажили в славе, и, как говорят иные, он, частью своею сметливостью и мужеством, частью помощью тестя, завоевал впоследствии Шотландию и был венчан на царство.

НОВЕЛЛА ЧЕТВЕРТАЯ

*Ландольфо Руффоло, обеднев, становится корсаром;
взят генуэзцами, терпит крушение в море, спасается
на ящике, полном драгоценностей, находит приют
у одной женщины в Корфу и возвращается домой
богатым человеком*

Лауретта, сидевшая возле Пампинеи, видя, что она дошла до торжественного конца своей новеллы, не ожидая иного приглашения, начала говорить таким образом:

— Прелестные дамы, по моему мнению, ни на чем не видать больше действия фортуны, как на человеке, возвысившемся из крайней нищеты к царственному положению, как то приключилось в новелле Пампинеи с ее Алессандро. А так как всякому из нас, кто станет впредь рассказывать о назначенном сюжете, придется держаться в его границах, я не постесняюсь рассказать вам новеллу, которая, хотя и содержит в себе еще большие бедствия, не представляет столь блестящей развязки. Я знаю хорошо, что, имея в виду последнюю, вы с меньшим вниманием выслушаете мой рассказ: но так как другого дать я не могу, меня извинят.

Морской берег от Реджио до Гаэты считается прелестнейшею частью Италии; там, очень близко от Салерно, есть высокая полоса, господствующая над морем, которую жители зовут Амальфийским берегом; он усеян мелкими городками с садами и ручьями, и там много богатых людей, ведущих торговлю так успешно, как никто иной. В числе упомянутых городов есть один, называемый Равелло, в котором и теперь водятся богатые люди, а прежде был богатейший человек, по имени Ландольфо Руффоло, которому его богатства не хватало, и он, желая его удвоить, едва не погубил вместе с ним и самого себя. И вот, сделав, по обыкновению купцов, свои расчеты, он купил большущее судно и, нагрузив его на собственные деньги разным товаром, отправился с ним в Кипр. Здесь он нашел не-

сколько других судов, пришедших с товаром того же качества, какой привез и он; по этой причине ему пришлось не только продешевить привезенное, но чуть не бросить даром, когда он вздумал продавать его, что привело его почти к разорению. Сильно огорченный этим обстоятельством, не зная, как быть, и видя, что в короткое время из богатейшего человека он стал чуть не бедняком, он решился либо умереть, либо грабежом возместить свои убытки, чтобы не вернуться нищим туда, откуда выехал богачом. Найдя покупателя своему большому судну, на вырученные деньги и другие, полученные за товар, он купил небольшое корсарское судно, отлично вооружил его, снабдил всем необходимым для такого дела и принялся присваивать чужое добро, особенно турецкое. В этом деле судьба оказалась ему более благоприятной, чем в торговле: в какой-нибудь год он ограбил и захватил столько турецких кораблей, что, оказалось, он не только вернул все, утраченное им в торговле, но и более чем удвоил свое состояние. Вследствие этого, наученный первым горем утраты и видя себя обеспеченным, он сам себя убедил, дабы не пережить того горя вторично, что ему достаточно того, что есть, и нечего желать большего; поэтому он и решил вернуться со своим достатком домой и, не доверяя товару, он озаботился обратить свои деньги в какие-нибудь ценности, а на том самом судне, на котором их добыл, пошел на веслах в обратный путь.

Когда он был уже в архипелаге и вечером поднялся сирокко, не только ему противный, но и взволновавший море, чего его крохотное судно не выдержало бы, он зашел в защищенный от того ветра залив, образованный небольшим островом, предполагая выждать здесь ветра более благоприятного. Вскоре вошли туда же с трудом, укрываясь от того же, от чего укрылся и Ландольфо, две большие генуэзские грузовые барки, шедшие из Константинополя. Люди, бывшие на них, увидев судно, загородили ему выход, узнав, кто его хозяин, которого по молве считали богатейшим, и, будучи по природе охочи до денег и грабежа, решились завладеть судном. Высадив на берег часть своих людей, с самострелами в руках и хорошо вооруженных, они поставили их на таком месте, что никто не мог сойти с судна, коли не желал быть застреленным; сами же, подтянувшись на лодках и пользуясь течением моря, подошли к небольшому судну Ландольфо и с небольшим трудом в короткое время ов-

ладели им и всем экипажем, из которого ни один человек не спасся; Ландольфо они перевезли на один из своих кораблей, судно все обобрали и затопили, а Ландольфо оставили в одной жалкой куртке.

На следующий день, когда ветер переменялся, грузовые корабли пошли под парусами на запад; весь тот день шли благополучно, но к вечеру поднялся бурный ветер, который, вздымая высокие волны, разъединил корабли. Случилось, что корабль, на котором находился несчастный бедняк Ландольфо, силою того ветра хватившись об отмель повыше Кефалонии, дал трещину и разбился вдребезги, точно кусок стекла, брошенный об стену; море покрылось плававшим товаром, ящиками и досками, как обыкновенно бывает в таких случаях; и хотя ночь была темнейшая, а море волновалось и вздулось, несчастные и жалкие люди, кто умел плавать, бросились вплавь и стали цепляться за то, что случайно им попадалось. Между ними был и бедный Ландольфо; за день перед тем он несколько раз зывал к смерти, предпочитая обрести ее, чем вернуться домой нищим, каким себя видел; увидев смерть вблизи, он ужаснулся ее и, подобно другим, схватился за подвернувшуюся ему под руки доску: быть может, он не сразу утонет, а Господь пошлет какую-нибудь помощь в его спасение. Оседлав доску, чувствуя, что море и ветер носят его туда и сюда, он продержался, как мог, до бела дня; когда настал день и он осмотрелся вокруг, ничего иного не увидел, кроме облаков и моря и ящика, который, носясь по морским волнам, иногда к нему приближался, к его великому ужасу, ибо он боялся, как бы ящик не ударился о него и не потопил; всякий раз, когда он подплывал близко, он отдалял его, насколько мог, рукою, как ни мало было у него сил. Как бы то ни было, случилось, что ветер, внезапно разнуздавшись в воздухе и обрушившись на море, так сильно ударил в ящик, а ящик о доску, на которой был Ландольфо, что она перевернулась, Ландольфо, выпустив ее, поневоле ушел под воду и, вынырнув, скорее помощью страха, чем силы, увидел, что доска от него очень далеко; боясь, что ему до нее не достать, он подплыл к ящику, который был вблизи, и, опершись грудью об его крышку, по возможности старался поддержать его руками в прямом положении. Таким-то образом, бросаемый морем туда и сюда, без пищи, ибо есть было нечего, напиваясь более, чем было желательно, не зная, где он,

и ничего не видя, кроме моря, он провел весь тот день и следующую ночь. На другой день, по милости ли Божьей или по воле ветра, он, обратившийся почти в губку и крепко державшийся обеими руками за края ящика, как то, мы видим, делают утопающие, хватаясь за любой предмет, пристал у берега острова Корфу, где случайно бедная женщина мыла и чистила песком и морскою водою свою посуду. Заметив его приближение, не разглядев его образа, она в страхе и с криком попятилась назад. Он не в состоянии был говорить, зрение ослабело, почему он ничего и не сказал ей; но когда море понесло его к берегу, она распознала форму ящика, а приглядевшись и всмотревшись пристальнее, признала прежде всего руки, распростертые на ящике, затем лицо и сообразила, что это такое. Поэтому, движимая состраданием, выйдя несколько в море, уже улегшееся, и схватив Ландольфо за волосы, она вытянула его вместе с ящиком на берег; с трудом оттянув его руки от ящика, она взвалила последний на голову бывшей с нею дочери, а Ландольфо, точно малого ребенка, потащила в местечко, посадила в ванну и так его терла и мыла горячей водою, что к нему вернулось утраченное тепло, а отчасти и потерянные силы. Когда ей показалось, что настала пора, она вынула его из ванны, подкрепила хорошим вином и печеньем и продержала его так несколько дней, как могла лучше, пока он, с возвратом сил, не стал сознавать, где он: тогда добрая женщина сочла долгом отдать ему его ящик, который она для него приберегла, и сказать ему, чтобы далее он сам озаботился о себе; так она и сделала. Ландольфо, ничего не помнивший о ящике, тем не менее принял его, когда добрая женщина его принесла; он полагал, что ящик не может же быть столь малоценным, чтобы не окупить ему несколько дней существования; найдя его легковесным, он понизил свои надежды, но тем не менее, когда той женщины не было дома, вскрыл его, чтобы посмотреть, что внутри, и нашел множество драгоценных камней, отделанных и нет, а в них он кое-что понимал. Увидев их и познав большую их ценность, он восхвалил Господа, не пожелавшего совсем оставить его, и совершенно утешился; но как человек, в короткое время дважды и жестоко постигнутый судьбою, он сообразил, что ему следует быть крайне осторожным, чтобы довести эти вещи домой; поэтому, завернув их, как сумел, в кое-какие лохмотья, он сказал сострадательной женщине, что ящик ему не нужен, пусть

возьмет его, коли хочет, а ему даст мешок. Женщина охотно это сделала, а он, воздав ей, какую мог, благодарность за оказанное ему благодеяние, взвалил мешок на плечи, удалился и, сев в лодку, переправился в Бриндизи; отсюда, держась берега, дошел до Трани, где встретил несколько своих сограждан, торговцев сукном. Они, почти Бога ради, одели его в свое платье, когда он рассказал им о всех своих приключениях, кроме случая с ящиком; сверх того, ссудили ему коня и дали провожатых до Равелло, куда, по его словам, он желал вернуться. Здесь, почувствовав себя в безопасности и возблагодарив Господа, приведшего его сюда, он развязал мешок и, рассмотрев все с большею внимательностью, чем прежде, нашел, что у него столько камней и такого достоинства, что, если продать их за подходящую и даже меньшую цену, он станет вдвое богаче, чем был при отъезде. Когда ему представился случай сбыть свои камни, он послал хорошую сумму денег в Корфу доброй женщине, извлекавшей его из моря, в награду за услугу; то же сделал и относительно тех, кто придел его в Трани; остальное оставил при себе и, не желая более заниматься торговлей, прожил привольно до конца своей жизни.

НОВЕЛЛА ПЯТАЯ

*Андреуччио из Перуджии, прибыв в Неаполь
для покупки лошадей, в одну ночь подвергается
трем опасностям и, избежав всех, возвращается
домой владельцем рубина*

— Камни, найденные Ландольфо, — так начала Фьямметта, до которой дошла очередь рассказа, — привели мне на память новеллу, не менее полную опасностей, чем новелла Лауретты, но тем от нее отличающуюся, что в той эти опасности приключались, быть может, в течение нескольких лет, в этой, как вы услышите, — в пределах одной ночи.

Жил, слышала я, в Перуджии юноша, по имени Андреуччио ди Пьетро, торговец лошадьми; услышав, что в Неаполе они дешевы, он, до тех пор никогда не выезжавший, положил в карман пятьсот золотых флоринов и отправился туда вместе с другими купцами. Прибыв в воскресенье под вечер и осведомившись у своего хозяина, он на другое утро пошел на торг,

увидел множество лошадей, многие ему приглянулись, и он приценился к тем и другим, но ни на одной не сошелся в цене, а чтобы показать, что он в самом деле покупатель, как человек неопытный и мало осторожный, он не раз вытаскивал свой кошелек с флоринами напоказ всем приходившим и уходившим. Пока он так торговался и уже успел показать свой кошелек, случилось, что одна молодая сицилианка, красавица, но готовая услужить всякому за недорогую цену, прошла мимо него, так что он ее не видел, а она увидела его кошелек и тотчас же сказала про себя: «Кому бы жилось лучше меня, если бы эти деньги были моими?» И она пошла далее. Была с этой девушкой старуха, также сицилианка; когда она увидела Андреуччио, отстав от девушки и подбежав к нему, нежно его поцеловала; как заметила это девушка, не говоря ни слова, стала в стороне и начала поджидать старуху. Обратившись к ней и признав ее, Андреуччио радушно приветствовал ее; пообещав ему зайти к нему в гостиницу и не заводя долгих речей, она ушла, а Андреуччио вернулся торговаться, но в то утро ничего не купил.

Девушка, заметив сначала кошелек Андреуччио, а затем его знакомство со своей старухой, желая попытаться, нет ли какого средства завладеть теми деньгами совсем или отчасти, принялась осторожно выпытывать, кто он и откуда, что здесь делает и как она с ним познакомилась. Та рассказала ей об обстоятельствах Андреуччио почти столь же подробно, как бы он сам рассказал о себе, так как долго жила в Сицилии у отца его, а потом и в Перуджии; она сообщила ей также, где он пристал и зачем приехал. Вполне осведомившись о его родственниках и их именах, девушка с тонким коварством основала на этом свой расчет — удовлетворить своему желанию; вернувшись домой, она дала старухе работы на весь день, дабы она не могла зайти к Андреуччио, и, позвав свою служанку, которую отлично приучила к такого рода услугам, под вечер послала ее в гостиницу, где остановился Андреуччио. Придя туда, она случайно увидела его самого, одного, стоявшего у двери, и спросила у него о нем самом. Когда он ответил, что он самый и есть, она, отведя его в сторону, сказала: «Мессер, одна благородная дама этого города желала бы поговорить с вами, если вам то угодно». Услышав это, он задумался и, считая себя красивым парнем, вообразил, что та дама в него влюбилась, точно в Неаполе не было, кроме него, другого красивого юноши; он тотчас же от-

ветил, что готов, и спросил, где и когда та дама желает поговорить с ним. На это девушка ответила: «Мессер, если вам угодно пойти, она ожидает вас у себя». Ничего не объявив о том в гостинице, Андреуччио поспешно сказал: «Так иди же впереди, я пойду за тобою».

Таким образом служанка привела его к дому той девушки, жившей на улице, называемой Мальпертуджио (Скверная Дыра), каковое прозвище показывает, насколько улица была благопристойна. Ничего о том не зная и не подозревая, воображая, что он идет в приличнейшее место и к милой даме, Андреуччио развязно вступил в дом за шедшей впереди служанкой, поднялся по лестнице и, когда служанка позвала свою госпожу, сказав: «Вот Андреуччио!» — увидел ее, вышедшую к началу лестницы в ожидании его. Она была еще очень молода, высокая, с красивым лицом, одетая и убранная очень пристойно. Когда Андреуччио подошел ближе, она сошла к нему навстречу три ступеньки с распростертыми объятиями, обвила его шею руками и так осталась некоторое время, не говоря ни слова, точно тому мешал избыток нежного чувства; затем в слезах она поцеловала его в лоб и прерывающимся голосом сказала: «О мой Андреуччио, добро пожаловать!» Изумленный столь нежными ласками, совсем пораженный, он отвечал: «Мадонна, я рад, что вижу вас!» Затем, взяв его за руку, она повела его наверх в свою залу, а оттуда, не говоря с ним ни слова, в свою комнату, благоухавшую розами, цветом померанца и другими ароматами; здесь он увидел прекрасную постель с пологом, много платьев, висевших, по тамошнему обычаю, на вешалках, и другую красивую богатую утварь; почему, как человек неопытный, он твердо уверился, что имеет дело по меньшей мере с важной дамой.

Когда они уселись вместе на скамье у подножия кровати, она принялась так говорить: «Я вполне уверена, Андреуччио, что ты удивляешься и ласкам, которые я тебе расточаю, и моим слезам, так как ты меня не знаешь и, быть может, никогда обо мне не слышал. Но ты тотчас услышишь нечто, имеющее привести тебя в еще большее изумление: это то, что я — сестра твоя. Говорю тебе: так как Господь сделал мне такую милость, что я до моей смерти увидела одного из моих братьев (а как бы желала я увидеть их всех!), нет того часа, в который я не готова была бы умереть, так я утешена. Если ты, быть может, ниче-

го не слышал о том, я расскажу тебе. Пьетро, мой и твой отец, долгое время жил в Палермо, как ты, думаю я, сам мог проведать; и были там и еще есть люди, очень любившие его за его доброту и приветливость; но изо всех, так любивших его, мать моя, женщина хорошего рода и тогда вдова, любила его более всех, так что, отринув страх перед отцом и братьями и боязнь за свою честь, настолько сошлась с ним, что родилась я, — ты видишь, какая. Затем, когда по обстоятельствам Пьетро покинул Палермо и вернулся в Перуджию, он оставил меня, еще девочкой, с моей матерью и никогда, насколько я слышала, ни обо мне, ни о ней более не вспоминал. Не будь он мне отцом, я сильно попрекнула бы его за то, имея в виду неблагодарность, оказанную им моей матери (я оставляю в стороне любовь, которую ему следовало питать ко мне, как к своей дочери, прижитой не от служанки или негодной женщины), которая отдала в его руки все свое достояние и себя самое, не зная даже, кто он такой, и побуждаемая преданнейшею любовью. Но к чему говорить о том? Что дурно сделано, да и давно прошло, то гораздо легче порицать, чем поправить; так или иначе, но случилось именно так. Еще девочкой он оставил меня в Палермо, и когда я выросла почти такой, как меня видишь, моя мать, женщина богатая, выдала меня замуж за родовитого, хорошего человека из Джирженти, который, из любви к моей матери и ко мне, переехал на житье в Палермо. Там, как рьяный гвельф, он завел некие сношения с нашим королем Карлом, о чем, прежде чем они возымели действие, доведася король Федерико, это было причиной нашего бегства из Сицилии — в то время, как я надеялась стать знатнейшей дамой, какие только были на том острове. Итак, захватив немного, что могли взять (говорю: немного по отношению к многому, что было нашим), покинув имения и дворцы, мы удалились в этот город, где нашли короля Карла столь признательным нам, что он вознаградил отчасти за убытки, понесенные нами ради него, дал нам поместья и дома и постоянно дает моему мужу, а твоему зятю, большие средства, как ты еще увидишь. Таким образом, я здесь, где по милости Божией, не твоей, вижу и тебя, мой милый братец».

Так сказав, она снова обняла его и, проливая сладкие слезы, опять поцеловала его в лоб.

Когда Андреуччио выслушал эту басню, так связно и естественно рассказанную, причем у рассказчицы ни одно слово

ни разу не завязло в зубах и не запинался язык; когда он вспомнил, что его отец в самом деле был в Палермо, зная по себе нравы юношей, охотно в молодости предающихся любви, видя нежные слезы и скромные объятия и поцелуи, он принял все, что она рассказала ему, более чем за истину и, когда она умолкла, ответил: «Мадонна, вам не должно показаться странным, если я удивлен, потому что в самом деле мой отец, почему бы то ни было, никогда не говорил ни о вашей матери, ни о вас, либо если и говорил, то до моего сведения это не дошло, и я ничего не знал о вас, как будто вас и не было; тем милее мне было обрести в вас сестру, чем более я здесь одинок и чем менее того чаял. По правде, я не знаю такого высокопоставленного человека, которому вы не были бы дороги, не то что мне, мелкому торговцу. Но разъясните мне, пожалуйста, как вы узнали, что я здесь?» На это она отвечала: «Сегодня утром мне рассказала о том одна бедная женщина, которая часто приходит ко мне, ибо, по ее словам, она долгое время была при нашем отце в Палермо и Перуджии; и если бы мне не казалось более пристойным, чтобы ты явился в мой дом, чем я к тебе в чужой, я давно бы пришла к тебе». После этих речей она принялась подробно и поименно расспрашивать его о его родных, и Андреуччио о всех ответил; и это еще пуще побудило его поверить тому, во что верить следовало всего менее.

Так как беседа была долгая и жара большая, она велела подать греческого вина и лакомств и поднести Андреуччио; когда после того он собрался уходить, ибо было время ужина, она никоим образом не допустила до того и, притворившись сильно огорченной, сказала, обнимая его: «Увы! Теперь я вижу ясно, как мало ты меня любишь; кто бы мог поверить, что ты у сестры, никогда тобою дотоле не виданной, в ее доме, где должен был бы и остановиться по приезде, — а хочешь уйти отсюда и отправиться ужинать в гостиницу! Не правда ли, ты поужинаешь со мной? И хотя моего мужа нет дома, что мне очень неприятно, я сумею, по мере женских сил, ублажить тебя хоть чем-нибудь». Не зная, что другое ответить, Андреуччио сказал: «Я люблю тебя, как подобает любить сестру, но если я не пойду туда, меня прождут целый вечер и я сделаю невежливость». Тогда она сказала: «Боже мой, точно у меня дома нет никого, с кем бы я могла послать сказать, чтобы тебя не дожидались! Хотя большею любезностью с твоей стороны и даже

долгом было бы — послать сказать твоим товарищам, чтобы они пришли сюда поужинать; а там, если бы ты все-таки захотел уйти, вы могли бы отправиться вместе». Андреуччио ответил, что без товарищей он в этот вечер обойдется и что, коли ей так угодно, пусть располагает им по своему желанию. Тогда она сделала вид, будто послала в гостиницу, дабы его не ждали к ужину; затем, после разных других разговоров, они уселись за роскошный ужин из нескольких блюд, который она хитро затянула до темной ночи. Когда встали из-за стола и Андреуччио пожелал удалиться, она сказала, что не допустит этого ни под каким видом, потому что не такой город Неаполь, чтобы ходить по нему ночью, особенно иностранцам; и что, посылая сказать, чтобы его не ждали к ужину, она сделала то же и относительно ночлега. Он поверил этому и, так как, вследствие ложного о ней представления, ему было приятно быть с нею, остался. После ужина завелись многие и долгие, не без причины, разговоры, уже прошла часть ночи, когда, оставив Андреуччио на ночлег в своей комнате и при нем мальчика, чтобы указать ему, коли что потребуется, она со своими служанками удалилась в другой покой.

Жара стояла сильная, потому Андреуччио, оставшись один, тотчас же разделся до сорочки, снял штаны, которые положил у изголовья, и, так как у него явилась естественная потребность освободить желудок от излишней тяжести, спросил у мальчика, где это совершается; тот показал ему в одном из углов комнаты дверцу, сказав: «Войдите туда». Андреуччио пошел уверенно, но случайно ступил ногою на доску, другой конец которой оторван был от перекладины, на которой он стоял, вследствие чего доска поднялась, а вместе с нею провалился и он; так милостив был к нему Господь, что он не потерпел при падении, хотя упал с некоторой высоты, зато весь выпачкался в нечистотах, которыми полно было то место.

Как оно было устроено, это я расскажу вам, дабы вы лучше поняли рассказанное и то, что последовало: в узком проходе на двух перекладинах, шедших от одного дома к другому, прибито было, как то мы часто видим между двумя домами, несколько досок и на них устроено сиденье; одна из этих досок и свалилась вместе с Андреуччио. Обретаясь в глубине прохода, опечаленный этим происшествием, он стал звать мальчика; но мальчик, услышав, как он упал, побежал сказать о том

своей госпоже; та бросилась в комнату Андреуччио и тотчас же принялась искать, тут ли его платье; найдя его и в нем деньги, которые он, никому не доверяя, по глупости всегда носил с собою, и получив то, чему расставила западню, став из палермитянки сестрою перуджинца, она, более о нем не заботясь, поспешила запереть дверь, которой он вышел, когда упал. Когда мальчик не отвечал, Андреуччио стал звать его громче; но это не вело ни к чему. Потому в нем уже зародилось подозрение, и он начал, хотя и поздно, догадываться об обмане; вскарабкавшись на низкую стену, замыкавшую проход с улицы, и спустившись на нее, он направился к двери дома, хорошо ему знакомой, и здесь долго и напрасно звал, рвался и стучал. Пустившись в слезы, как человек, ясно понявший свое несчастье, он стал так говорить: «Увы мне, бедному, в какое короткое время лишился я пятисот флоринов — и сестры!» После многих других слов он снова принялся стучать в дверь и кричать, да так, что многие из ближайших соседей, проснувшись, встали, не будучи в силах вынести такой докучи, а одна из служанок той женщины, с виду совсем заспанная, подойдя к окну, сказала бранчиво: «Кто там стучится внизу?» — «Разве ты не узнаешь меня? — сказал Андреуччио. — Я Андреуччио, брат мадонны Фьордолизо!» А она ему в ответ: «Если ты слишком выпил, дружок, пойди и проспись, завтра вернешься; я не знаю, какой там Андреуччио и какой вздор ты несешь; ступай в добрый час и дай нам, пожалуйста, спать». — «Как! — сказал Андреуччио. — Ты будто не знаешь, о чем я говорю? Наверно, знаешь; но, уже если таково сицилианское родство, что забывается в столь короткое время, так отдай мне по крайней мере мое платье, которое я у вас оставил, и я готов уйти с Богом». На это она сказала, чуть не смеясь: «Милый мой, мне кажется, ты бредишь». Сказать это, отойти и запереть окно было делом одного мига. Это окончательно убедило Андреуччио в его утратах; горе едва не обратило его великий гнев в ярость, и он решился добыть насилием, чего не мог вернуть словами; потому, схватив большой камень, он снова принялся бешено колотить в дверь, нанося гораздо большие удары, чем прежде. По этой причине многие из соседей, уже прежде разбуженные и вставшие, полагая, что какой-нибудь невежа выдумывает небылицы, чтобы досадить порядочной женщине, и рассерженные стуком, который он производил, высунулись в окна и при-

нялись голосить, точно собаки с другой улицы лают на чужую: «Большое невежество — явиться в такой час к дому честных женщин с такой болтовней! Ступай-ка с Богом, любезный, дай нам, пожалуйста, спать; если у тебя есть до нее дело, придешь завтра, а сегодня ночью не учиняй нам такого беспокойства». Подбодренный, быть может, этими словами, кто-то бывший в доме, сводник той женщины, которого Андреуччио не видел и о котором не слышал, подошел к окну и голосом сильным, страшным и грозным сказал. «Кто там внизу?» Андреуччио, подняв голову на голос, увидел кого-то, показавшегося ему, насколько он мог разглядеть, здоровенным детиной, с черной густой бородой; точно он встал с постели после глубокого сна, он зевал и протирал глаза. Андреуччио отвечал не без некоторого страха: «Я — брат дамы, что в этом доме». Но тот не выждал конца ответа Андреуччио, напротив, грознее прежнего сказал: «Не понимаю, что меня удерживает сойти и дать тебе столько ударов палкой, сколько нужно, чтобы ты не двинулся. Осел ты надоедливый, видно, что пьяница, не даешь нам поспать в эту ночь». И, отойдя, он захлопнул окно. Некоторые из соседей, лучше знавшие, что то был за человек, дружески сказали Андреуччио: «Бога ради, любезный, уходи с Богом, не напрашивайся быть здесь убитым ночью; уходи, лучше будет». Вследствие этого, испуганный голосом и видом того человека и побуждаемый убеждениями людей, говоривших, казалось, из сострадания к нему, огорченный, как только может быть человек, и отчаявшись в деньгах, Андреуччио, идя в направлении, по которому днем, сам не зная куда, следовал за служанкой, пошел по дороге к гостинице. Так как ему самому неприятен был запах, от него исходивший, и он задумал повернуть к морю, дабы омыться, он взял влево и пошел по улице, называемой Каталонской.

Когда он шел к верхней части города, случайно увидел впереди двух человек, направлявшихся к нему с фонарями в руках. Опасаясь, что это сыщики либо какие злонамеренные люди, он, избегая их, тихонько спрятался в пустом строении, которое увидел поблизости; но те, точно посланные нарочно, вошли в тот же дом, и здесь один из них, свалив с плеч какие-то железные орудия, принялся вместе с другим осматривать их и говорить о них то и другое. Когда они беседовали, один из них сказал: «Что бы это значило? Я чувствую такую сильную вонь,

какую никогда не ощущал». Сказав это, он поднял немного фонарь, и они увидели беднягу Андреуччио и в изумлении окликнули: «Кто там?» Андреуччио смолчал, но они, приблизившись к нему с фонарем, спросили, что он тут делает такой запачканный. Андреуччио объяснил им в полноте все, что с ним произошло. Те, сообразив, где это могло с ним случиться, сказали друг другу: «Наверно, это было в доме Скарабоне Буттафуоко». Обратившись к Андреуччио, один из них сказал: «Хотя ты потерял деньги, любезный, но тебе следует много возблагодарить Господа, что случайно ты упал и не мог потом вернуться в дом, ибо если б ты не свалился, будь уверен, что, как только ты заснул бы, тебя бы убили и вместе с деньгами ты утратил бы и жизнь. Но теперь плакаться не поможет; вернуть копейку — то же, что достать звезд с неба; а убить тебя могут, если тот прослышит, что ты когда-нибудь обронишь о том слово». Сказав это и немного посоветовавшись друг с другом, они обратились к нему: «Вот видишь ли, у нас явилась к тебе жалость: потому, если бы ты помог нам в одном деле, на которое мы снарядились, мы вполне уверены, что на твою долю придется нечто гораздо более ценное, чем то, что ты утратил». Андреуччио, как человек отчаявшийся, ответил, что он готов.

В тот день похоронили неаполитанского архиепископа, по имени мессер Филиппе Минутоло, похоронили в богатейших украшениях и с рубином в перстне, стоимшем более пятисот флоринов; они и хотели пойти ограбить покойника и так разъяснили Андреуччио свой замысел. И вот Андреуччио, более из жадности, чем по разуму, отправился вместе с ними; когда они шли к главной церкви, а от Андреуччио сильно пахло, один из них сказал: «Как бы нам устроить, чтобы он немного помылся где бы то ни было, дабы от него не несло так страшно?» Другой сказал: «Да вот у нас поблизости колодец, при нем обыкновенно блок и большая бадья, пойдем туда и вымоем его поскорее». Придя к колодцу, они нашли веревку, но бадья была унесена, потому они решились привязать его к веревке и спустить в колодец; пусть вымоется внизу и, когда это сделает, дернет за веревку, они его и поднимут. Так и сделали. Случилось так, что, когда они спустили его в колодец, несколько служителей синьории, ощутив жажду от жары или потому, что гонялись за кем-нибудь, направились к колодцу, чтобы напиться. Когда те двое увидели их, тотчас же бросились бежать, так что сыщики,

шедшие, чтобы напиться, их не заметили. Когда Андреуччио обмылся в глубине колодца, дернул за веревку; томимые жаждой, те люди сложили свои щиты, оружие и плащи и начали тянуть веревку, полагая, что на конце прицеплена бадья, полная воды. Когда Андреуччио увидел себя у краев колодца, он ухватился за них руками, отпустив веревку; увидев это, объятые внезапным страхом, те, не говоря ни слова, бросили веревку и принялись изо всех сил бежать. Сильно удивился тому Андреуччио и, если б хорошенько не удержался, упал бы на самое дно, быть может, не без вреда для себя или смертного случая; выйдя и увидя оружие, которого, как ему было известно, у его товарищей не было, он пришел в еще большее изумление. Сомневаясь и недоумевая и сетуя на свою судьбу, не тронув ничего, он решился уйти и пошел, сам не зная куда. На пути встретился с двумя своими товарищами, шедшими вытащить его из колодца; увидев его и сильно удивившись, они спросили его, кто вытянул его из колодца. Андреуччио отвечал, что не знает, и рассказал по порядку все, как было, и что он нашел у колодца. Догадавшись, в чем дело, те, смеясь, рассказали ему, почему они убежали и кто те люди, которые его вытащили; не тратя более слов, ибо была уже полночь, они отправились к главной церкви, куда легко проникли и, подойдя к гробнице, мраморной и больших размеров, своим железным инструментом настолько приподняли тяжелую крышку, чтобы можно было пролезть человеку, и подперли ее. Когда это было сделано, один из них начал говорить: «Кому туда полезть?» Другой отвечал: «Не мне». — «И не мне, — сказал тот, — пусть ползет Андреуччио». — «Этого я не сделаю», — сказал Андреуччио, но те, обратившись к нему вдвоем, сказали: «Как не ползешь? Ей-богу, коли ты не пойдешь, мы так наколотим тебе голову этими железными кольями, что уложим мертвым». Андреуччио, из страха, полз и, влезая, подумал про себя: «Эти люди велят мне войти, чтобы обмануть меня, потому что, когда я передам им все и с трудом буду выбираться из гробницы, они уйдут себе по своим делам, а я останусь ни с чем». И вот он надумал заблаговременно взять свою долю; вспомнив о драгоценном перстне, о котором, он слышал, они говорили, как только спустился, снял его с пальца архиепископа и надел на свой; затем подал им посох и митру и перчатки, раздев покойника до сорочки, все им передал, говоря, что более ничего нет. Те утверждали, что там должен быть и перстень, пусть поищет

повсюду; но он отвечал, что не находит его, и, показывая вид, будто ищет, подержал их некоторое время в ожидании. Они, со своей стороны, не менее хитрые, чем он, велели ему поискать хорошенько и, улучив время, выдернули подпорку, на которой держалась крышка, и убежали, оставив его в гробнице.

Каково было Андреуччио, когда он это услышал, всякий может себе представить. Несколько раз пытался он головой и плечами, как бы ему приподнять крышку, но труд был напрасен; потому, удрученный тяжелым горем, он в обмороке упал на труп архиепископа, и кто бы их тогда увидел, с трудом распознал бы, кто из них более мертв, архиепископ или он. Когда он пришел в себя, начал плакать навзрыд, увидев, что ему, без сомнения, не миновать одного из двух: либо умереть с голода и от вони среди червей мертвого тела, если никто более не придет открыть гробницу, либо, если придут и найдут его в ней, быть повешенным, как грабитель. Когда он был в таких мыслях и сильной печали, услышал, что по церкви ходят и говорят многие, пришедшие, как он догадался, за тем же делом, за каким приходил и он со своими товарищами. Его страх от того усилился. Но когда те вскрыли гробницу и поставили подпорку, стали спорить, кому туда войти, и никто не решался; наконец, после долгого препирательства один священник сказал: «Чего вы боитесь? Уж не думаете ли вы, что он вас съест? Мертвецы не едят живых; я войду туда». Так сказав, опершись грудью на край гробницы и отведя голову вне, он спустил ноги внутрь, чтобы влезть. Увидя это, Андреуччио приподнялся и схватил священника за ногу, как бы желая стащить его вниз. Почувствовав это, священник испустил сильнейший крик и быстро выскочил из гробницы; все остальные, испуганные этим, оставили ее открытой и пустились бежать, как будто за ними гналось сто тысяч дьяволов. Увидав это, обрадованный сверх ожидания, Андреуччио тотчас же выскочил и вышел из церкви тем же путем, каким вошел.

Между тем наступил и день; идя наудачу, с перстнем на пальце, Андреуччио добрался до морского берега, а затем набрел и на свою гостиницу, где нашел, что и его товарищи и хозяин всю ночь беспокоились о том, что с ним случилось. Когда он рассказал им, что с ним было, совет хозяина был, чтоб он немедленно покинул Неаполь, что он тотчас же и сделал, и вернулся в Перуджию, обратив перстень в деньги, с которыми отправился покупать лошадей.

НОВЕЛЛА ШЕСТАЯ

*Мадонна Беритола найдена на одном острове
с двумя ланями, после того как потеряла двух сыновей;
отправляется в Луниджьяну, где один из ее сыновей
поступает в услужение к властителю страны,
слюбился с его дочерью и посажен в тюрьму.
Сицилия восстает против короля Карла; сын,
узнанный матерью, женится на дочери своего
господина; его брат найден, и оба возвращаются
в прежнее высокое положение*

Дамы, а равно и юноши много смеялись над приключениями Андреуччио, рассказанными Фьямметтой, когда Эмилия, увидав, что новелла пришла к концу, по приказанию королевы начала так:

— Тяжелы и докучливы разнообразны превратности судьбы, и так как всякая беседа о них вызывает пробуждение духа, легко засыпающего под ее ласки, я полагаю, что никогда не лишне послушать о них счастливым и несчастным, настолько первых это делает осторожными, а вторых утешает. Потому, хотя об этом уже много было говорено ранее, я намерена рассказать вам по тому же поводу новеллу не менее правдивую, чем трогательную; ее развязка весела, но такова была скорбь и так продолжительна, что едва верится, что она смягчилась последовавшей радостью.

Вы должны знать, милейшие дамы, что по смерти императора Фридриха II королем Сицилии был венчан Манфред, при котором высокое положение занимал один родовитый человек из Неаполя, по имени Арригетто Капече; у него была красивая и родовитая жена, также неаполитанка, по имени мадонна Беритола Караччоло. Когда Арригетто держал в своих руках управление островом и услышал, что король Карл I победил и убил Манфреда при Беневенте и все королевство ему покорилось, он, мало уповая на шаткую верность сицилианцев и не желая стать подданным врага своего повелителя, приготовлялся к бегству; но сицилианцы о том проведали, и он и многие другие друзья и служители короля Манфреда были внезапно преданы, как пленники, королю Карлу, а затем передана ему и власть над островом. В таком изменении вещей, не зная, что случилось с Арригетто и постоянно опасаясь того, что и при-

ключилось, мадонна Беритола, боясь позора, покинула все, что имела, и, сев в лодку со своим восьмилетним сыном, по имени Джусфреди, бедная и беременная, удалилась на Липари, где родила другого мальчика, которого назвали Скаччато (изгнанник); здесь, взяв кормилицу, она со всеми своими села на небольшое судно, чтобы вернуться в Неаполь к своим родным. Но вышло иначе, чем она предполагала, ибо силой ветра судно, имевшее пойти в Неаполь, было отнесено к острову Понца, где, войдя в один небольшой морской залив, они стали выжидать время, благоприятное для путешествия. Сойдя вместе с другими на остров и найдя на нем уединенное в стороне место, мадонна Беритола осталась здесь одна, чтобы поплакать о своем Арригетто. Таким образом она делала каждый день; случилось, что пока она предавалась своим сетованиям, подошла галера корсаров, так что ни корабельщик и никто другой того не заметили, преспокойно забрала всех и удалилась. Когда, по окончании сетования, мадонна Беритола вернулась к берегу, чтобы поглядеть на детей, как то делала обычно, никого там не нашла. Сначала она удивилась тому, затем, внезапно догадавшись, что случилось, вперила глаза в море и увидела галеру, еще не далеко ушедшую и увлекавшую за собой ее судно. Тут она ясно поняла, что потеряла не только мужа, но и детей; увидя себя бедной, одинокой, оставленной, не зная, придется ли ей найти кого-либо из них, она, призывая мужа и сыновей, упала на берегу без сознания. Не было там никого, кто бы холодной водой или другим средством снова призвал к ней оставившие ее силы, почему ее дух мог свободно блуждать по произволу; но когда к ее жалкому телу вернулись, вместе со слезами и воплями, утраченные силы, она долго звала детей и пристально обыскивала каждую пещеру. Когда она поняла, что ее труд напрасен, и увидела, что наступает ночь, она, все еще надеясь, сама не зная на что, стала помышлять о себе и, отойдя от берега, вернулась в ту пещеру, где имела обыкновенные плакать и горевать. Когда прошла ночь в большом страхе и неопisanном горе, наступил следующий день и уже прошел третий час, она, не поужинав перед тем вечером и побуждаемая голодом, принялась есть траву; поев, как могла, она, плача, отдалась различным мыслям о своей будущей судьбе.

Пока она находилась в таком раздумье, увидела, как в одну пещеру неподалеку вошла лань, вышла оттуда через некоторое

время и побежала в лес. Встав и войдя туда, откуда выбежала лань, она увидела двух ланят, рожденных, вероятно, в тот же день; они представились ей самыми милыми и хорошенькими созданиями на свете, и так как после недавних родов молоко у нее еще не иссякло, она бережно взяла ланят и приложила к своей груди. Не отказываясь от такого предложения, они начали сосать ее, как сосали бы мать, и с тех пор не делали никакого различия между ней и матерью. Таким образом, достойная женщина вообразила, что она нашла в пустыне хоть какое-нибудь общество; питаясь травой, водой утоляя жажду, порой плача, когда вспоминала о муже и детях и своей прошлой жизни, она решила здесь жить и умереть, не менее привязавшись к ланятам, чем к своим сыновьям.

Когда благородная дама пребывала таким образом, уподобившись зверям, случилось через несколько месяцев, что пизанское судно занесено было бурей туда же, куда и она прежде пристала, и пробыло там несколько дней. Был на том судне родовитый человек, по имени Куррадо, из рода маркизов Малеспини, со своей женой, достойной и святой женщиной; они совершили паломничество ко всем святым местам, какие есть в королевстве Апулии, и возвращались домой.

Однажды, чтобы отвести скуку, Куррадо с женой, несколькими слугами и собаками отправились внутрь острова; недалеко от места, где находилась мадонна Беритола, собака Куррадо стала гнать двух ланят, которые, уже подросши, ходили и паслись; преследуемые собаками, они пустились бежать не в иное какое место, как в пещеру, где была мадонна Беритола. Увидев это, вскочив и схватив палку, она прогнала собак, а тут подошел Куррадо с женой, следуя за собаками: увидев женщину, почерневшую, похудевшую и обросшую волосами, они дали диву, а она удивилась им и того более. Когда по ее просьбе Куррадо отозвал своих собак, после многих увещаний, убедили ее рассказать, кто она и что здесь делает, и она подробно открыла им свое положение, все приключения и свое суровое намерение. Как услышал это Куррадо, очень хорошо знавший Арригетто Капече, заплакал от жалости и многими речами тщился отвлечь ее от столь жестокого решения, предлагая ей отвезти ее в свой дом и держать в чести, как бы свою сестру; пусть останется с ними, пока Господь не пошлет ей в будущем более счастливой доли. Когда мадонна Беритола не склонялась